

18+

ЕЛЕНА БЕРДНИКОВА

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

РОМАН



Елена Бердникова

Египетские ночи. Роман

«Издательские решения»

Бердникова Е.

Египетские ночи. Роман / Е. Бердникова — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Лиричный ландшафт степного Зауралья и особый, деловой социум торгового Кургана — такова сцена любовной истории петербургской певицы и молодого красавца, машиниста транссибирских поездов. Оба — в поле чужих страстей, в прицеле жестокого, распавшегося — еще в 1914 году — времени. А в 1979 один странный музыкальный мальчик пытается решить свою, их и общую «загадку века». Жанр: династический роман. Издание включает авторское послесловие. На обложке: «Распад времени» Геннадия Бердникова (2004). Книга содержит нецензурную брань.

© Бердникова Е.

© Издательские решения

Содержание

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ	6
I. БЕЛАЯ ДАМА	6
II. КРАСНЫЙ БАНТ	49
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Египетские ночи

Роман

Елена Бердникова

© Елена Бердникова, 2026

ISBN 978-5-0070-7972-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Елена Бердникова

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

Алексею Тарасову

*...Нам не давались пушкинские кудри
И, сидя на печи в тепле,
Изделим от «Сакко и Ванцетти»¹
Уже улавливали мудрости черты,
Глоток воспитанности ловили мы в тиши
Под пение едва — под хруст карандаша...
Геннадий Бердников*

*Уронив лишь каплю чернил на зеркало,
египетский маг и ворожей берется показать любому случайному
гостю картины далекого прошлого. Именно это я берусь сделать для вас,
читатель.
Джордж Элиот*

I. БЕЛАЯ ДАМА

*Существует еще один вариант написания по способу «вечность»:
знак «земля» (вернее, иероглиф очень похожий на этот
знак, но отличающийся от него тем,
что при нем не выписываются
характерные для знака «земля»
зернышки) заменяется
знаком «вода».
О. Д. Берлев²*

*В руках у меня рыба,
У рыбы долгий век,
От долгого прогиба
Немеет человек.*

*А я говорю, говорю.
Считалка*

Дети постоянно жили на реке. Тишайшая даже в разливе, небурная даже во времена ледокола, она текла ровно, равная себе на полутора тысячах километров: один берег — пологий, другой — крутой. На крутом мы и сидели, перекликаясь (тщетно) с теми, кто удил рыбу на пологом. Красивыми набегами песка выходила река на южную пойму: там паслись длинные черно-пестрые стада, вставали — освещенные с нашей, северной стороны — облака, туда же в темные дни дул самый жестокий в наших краях северо-восточный ветер. Тогда вынутые на берег лодки и низкое, слоеное облаками небо делало наш пейзаж картиной малых голландцев, похищенной из Эрмитажа.

¹ Московская фабрика письменных принадлежностей в 1925—2020.

² Олег Дмитриевич Берлев (1933—2000) — выдающийся египтолог XX века, сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения Российской академии наук.

Но постоянным был другой пейзаж. Тихая картинная даль, взятая лаком внимательного наблюдения, и разрезающая небо в полете лесá, налетающая на леса в своей каламбурной, легкой траектории. Серебристый лёт блесны, предваряющей своим действием другой серебристый блеск — бьющейся в руках рыбы, маленькой, как и то, что она способна вместить. Ее собственная жизнь билась внутри, а еще там тихо лежал маленький предмет: перекрещенные латунные якорь и топор, темные, как дно этой мгновенно зарастающей реки.

Вынутая из рыбы эмблема, когда-то красовавшаяся на железнодорожном мундире, — так сказали старшие — стояла на столике рядом с зеркалом и там же, вместе с расческой, резинкой для волос и носовым платком, встречала утро, клетчатое, как перекрытия рам веранды. Солнце раскаляло латунь, привычную к холоду дна.

— Это в двадцатых было крушение ниже по реке, — говорили взрослые.

— И как она приплыла сюда? Ее бы сто раз песком занесло, а вишь, попала в рот рыбе.

— Щука триста лет живет, как ворон.

— Что, ее рыба полвека назад съела?

— Тогда бы она не потемнела: у ней, поди, тоже, как у нас, есть сок внутри, он не даст темнеть. Все разъедает.

— А вдруг человек с крушения приплыл сюда и лежит у нас под яром, и его рыба только что съела?

— Может, и лежит.

Молчание. Шепот:

— Рыба-то — не щука.

— А как он мог в форменке проплыть эти километры от моста: раненый да против течения? Зачем ближе к городу на берег не вышел?

— Скрыться хотел.

— Вот и скрылся.

В голове звучит сладостный хаос, носится нескончаемый шум, князь Владимир Игоревич в голубом выходит на авансцену и посылает далеко ко всем:

Медленно день угасал,
Солнце за лесом садилось,
Зори вечерние меркли,
Ночь надвигалась на землю,
Тени ночные черным покровом
Степь застилали,
Теплая южная ночь...

К нему не прийти невозможно, но он уже уехал: труппа среднеазиатского оперного театра увезла черноволосого тенора, надевавшего лишь для этой партии светлый парик — гору выющихся кудрей, неотделимых, на взгляд из партера, от его легкого профиля.

Над почерневшей эмблемой витает детский голос:

Где ты, где?
Отзовись на зов любви!
О, скоро ль, скоро ли я
Увижу тебя? —

когда нет и намека на ночь, но зато узнаваемо все другое: теплый юг, степь, брошенные стоянки кочевников, горящая грудь, страстная тоска детства и вечное «все давно заснуло».

В светлом зное застыл послеполуденный окоем, все в самом деле спят вокруг, но воды не белесы, как в этой знаменитой арии, а безмятежно сини, и белесого в них — только отражения едва колеблющихся матовых куп приречного тальника.

Плотные и прохладные даже в этот зной заросли голубики стоят за рекой, на кочевничей стороне, а мы — на старинной высоте русской крепости — спим в неподвижном, величественно-тупом покое.

Но не спят — дитя, барсук из его очередной песни и еще одна постоянная полуденная пара. Пыля по желтому песку улицы, идут старая учительница и с ней, бережно ведомый за руку, ее внук. Слабоумие его не видно ни в лице, ни в наряде: это обычный, даже «здоровый» по сложению шестнадцатилетний парень, но косноязычная немота, отсутствие последней искры как будто впечатались в клетчатые орнаменты его темно-коричневой рубашки. Он скован и лишен: непонятно, чего он лишен, но лишенность его ярка на нем, ярче его темной, скорбной одежды. Бабушка его, в чем-то таком же темном, гордо идет рядом, и это гордость не характера или судьбы, а просто фигуры. Две загадочные, скорбные, лишенные и гордые фигуры проходят — тяжело черпая песок, неизвестно откуда, куда, зачем. Старшим что-то известно о них, они даже знакомы с носительницей странной фигуры и обстоятельств; кажется, родители его погибли, когда взорвался ночью новый цветной телевизор, они спали и не заметили, как сгорели. Или нет: он изнасиловал кого-то младше себя, а так как безответственность его совершенна, теперь его приходится так вот водить, и отсюда эта темная напряженность в нем. Больше ничего не известно.

Но когда они проходят и скрываются в створе главной улицы, вытекающей в поле, осененное колоссальными соснами, тополями, деревьями-гигантами, размер которых постигается особенно хорошо на старых и свежих срезах, пнях, — тогда наступает время всем проснуться. Тихо и издалека подходят вечерние зори, ветристо движутся по дальним поймам, лугам.

А до той поры — полдник, а там — вечерняя рыбалка.

Нетрудно подростку спуститься по осыпающемуся, почти отвесному яру к заветному, дорожке дома, месту, мосткам у воды. И вновь — полет блесны на середину реки, и долгий переклик — не словами, а гримасами и жестами, — с теми, кто стоит там и, как в воду, смотрит в тебя. Такие же загорелые, юношески хрупкие и светловолосые, они уже и не пытаются докри-

чаться, а просто улыбаются с их солнечной пологой стороны нам, тем, кого затенила круча, кому уже свежо от темной воды, и ведомо, что вот тут, где-то тут — он, носитель скрещенных орудий, но не знаешь где, зачем. Кто он и почему ему оказалось дело до тебя.

* * *

«Люди живут здесь со времен неолита, каменного века, а когда-то здесь жили и мамонты, долго. Если нырнуть вон у той отмели, видишь, где стоят мостки, можно найти зуб мамонта. Или шило древнего человека, сейчас трудно разобрать. Нужно отправлять находку в Свердловск. Здесь у мамонтов были водопои, броды, а река, сколько бы ни петляла, иногда возвращается на старое русло. Случайно. А потом древний человек исчез, и появились мы. Мы оказались сильнее. А мамонты ушли на дно. Теперь таких больших слонов нет на Земле, ведь мамонт — это всего-навсего северный слон. Так и видишь, как они переходят реку ранним утром, когда она еще бела, не отражает их поросших шерстью туш, колеблющихся в тумане, — или склоняют к воде свои бивни и хоботы в зной, и вода снова не отражает их, или отражает неверно, потому что вся горит одной большой чешуйчатой кольчугой ряби.

Если встать посередине нашей реки лицом к югу и раскинуть руки, то кончиками пальцев ты можешь коснуться краев земли. Не всей земли, конечно, а только нашей суши. Евразии. Правая твоя рука устремится — над Веймаром, Варшавой, Брянском — к Лиссабону, а левая потянется — через Большой Саян, Яблоновый хребет, вдоль Транссиба — к Владивостоку. Тобол, или Тубул, — срединная река, вытекает она из среднеазиатских хребтов, крепнет тонкими азийскими реками, собирает все, что может, из притоков и сама втекает у огромного холма в Иртыш, а потом вместе с Иртышем — в Обь, и все они, перемешавшись, текут в океан, в подледное гиперборейское царство.

Мы все стремимся туда, к паковым льдам; раньше здесь людей хоронили головами не на запад, как сейчас, а на север, — так же, как мы спим, — чтобы их, как живых, напитать энергией тяготения к северу, главному магниту Земли.

До полюса от нас столько же, сколько до запада Аравийского полуострова. «В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы...» Мы — пуп земли, то есть суши. Только — суши, конечно. Есть другая, омываемая водами, земля, но она так далека. Очень далека. Мы — танец живота всей степи. Поэтому и река у нас ходит вечно серебряным переливчатым поясом на талии, и мы смуглы. Волнующе смуглы — каждый год, начиная с мая. А вот уже июль.

Но ты и я не загораем. Ты не хочешь расстегнуть рубашку? Хотя бы верхнюю пуговку? Я так и знала. Хорошо, что тень ходит над нами. Почему ты выбрал ходить в зной, в это время? Что поделаешь.

Я знаю, знаю, не смотри так. Мы — капелька пота на пупе земли, мы всегда в трудах. В каменном веке люди жили здесь же, на реке, и жили ею. Охотились и рыбачили. Река всегда принесет хлеб, то есть пищу. А хлеб здесь стали сеять совсем недавно. Сначала сеяли только овес, потому что жили здесь коневоды. Но и коневодами они стали не сразу. Били птиц и зверя, ловили сетями стерлядь, я еще помню ее в этой реке, ты не поверишь; сейчас там только окунь да голян. Собирали ягоды и грибы. Как мы с тобой. А потом начали пасти своих животных: коров, волов, овец, коз. Но главное — коров и лошадей. Они приручили лошадей. Огромные стада, табуны ходили по этим пастбищам — далеко в степь, до самой пустыни. Вот раздолье!

Тридцать веков назад здесь у нас уже всё умели: кувшины из глины делали, ее тут до черта, и к железу перешли от бронзы. Я помню, как Магнитку строили, тоже здесь недалеко. Все возвращается. Когда-то металлурги откочевали от Черного моря сюда, в середину континента, здесь и осели. Мастерство где оседает, там и живет. Трудно уходит. Сперва нужное подбирали с земли, потом копи завели, горное дело. Хорошую сталь плавил. Я видела мечи, когда в двадцать восьмом году курган разрывали. Наконечники стрел, копья.

С кем они здесь воевали? С такими же, как они.

Людей здесь хоронили в ямах, камерах под курганами. Поэтому курганов здесь, как везде в степи, полно. Отсюда название — «ямная культура». И жили в землянках. Ты вот не бывал в Копее, а то бы посмотрел, как раньше люди жили. В Копее до сих пор так живут. Роят землянки, селятся. Три стены — земляные, четвертая — фанерная или срубная, кто на что горазд, а вместо крыши, венца — накат бревен. А раньше бывало — и настил из шкур поверху. Идешь по такому «дому» и не знаешь, что ты идешь по головам у людей. Видел ведь ты фильм «Александр Невский»? Вот там тоже такое жилье показано. Самое наше степное жилье. Жило.

Когда железную дорогу в конце девятнадцатого века строили, Копей этот завелся. «Возродили». И до сих пор не вывелся. Старое всегда вернуться радо, только позови, но оно бывает уродливо. Ты там не бывал, и не надо.

А двадцать веков назад здесь прошел северный Великий Шелковый путь. Только наметили его тогда, а когда развили, он пошел уже много южнее нас, по Средней Азии. Казахи зовут его Жибек жолы.

Лихой народ — кочевники, скотоводы. Земледельцы будут потише, но предки наши были земледельцами постольку-поскольку, не то что сейчас. Смотри, все сидят в зной по огородам, а коровы по деревне не доищешься. О лошади я и не говорю. Безлошадные!

Здесь, в степи, изобрели колесницу. Представь, вот я читала тебе «Легенды и мифы Древней Греции», а их знаменитая конная запряжка, квадрига Аполлона, колесница Феба — от варваров. От нас, саргатов. Считают, правда, что она появилась не здесь, а где-то на юге России нынешней, под Воронежем или в донских степях; может быть, но это, во-первых, вряд ли — а во-вторых, какая разница, если и так? Из степи пришли ремесла, стада, кони породистые. Не из лесов, не с гор. Потому что человеку есть где развернуться здесь. Неограниченно. Природа сама учит всему человека: расти! А все остальное только мешает. Образование, например. Это нехорошо так говорить учителю, но тебе я скажу: не всем на пользу. Кого-то оно узит, теснит, кому-то не дается, а кому-то не нужно. Он с четырьмя классами хорошо бы прожил, а мы ему — десять.

Ты без школы живешь, и что? Ну ладно. Пока я живу, — ты живешь, а меня не будет, — что будет? Как-нибудь проживешь. Ты не видишь, кто там прячется, за пнями, в песчанике? Мне от солнца не видно. Кто? Девочка? Рыбачка-то? Что ей надо? Ушла?

Надоело слушать. Тебе вот никак не надоест одно и то же в пяти сериях. Сказки бабушки. И я долблю все одно и то же. Лишь бы рассказать. А ты и слушаешь. Одно и то же. По порядку. Тебе голову не напекло? Платок повязать? Что за мода — на раскаленном солнце безо всего. Меркулова сказала тебе категорически не перегреваться, а еще хуже — не перечить тебе. Как примирить — не знаю. Я — плохой педагог, плохой. Хорошие все умерли, ушинские, мон-

тессори. А новые еще не родились. Может быть, тебе достанутся еще, на твою долю, а я уже не увижу. Навесили мне «Отличника народного просвещения», а я знаю, что я никто, никто. Шошка-ерошка. Когда все исчезли, я осталась. Потому что в степи жила. Сама не знаю почему. Не ожидала.

Она ушла, и мы пойдем. Пойдем назад. Полдничать пора. Меня мама учила не спать на закате солнца, но из-за тебя у меня все наоборот. Я не упрекаю, нет. Я просто говорю».

* * *

«Я сюда потому хожу, что слышу отсюда лучше. Но я не Ямуну слушаю; она думает — ее, но я — не ее. Здесь на спилах хорошо, ветер звенит листьями, которые уже перегорели, и хотя на вид еще зеленые, но уже и желтые, и звенят медно, но я тональность их звона не улавливаю, они вразнойбой бьют. Свежо. Когда голову разогревает, тогда еще слышнее, как ветер свежо идет по верхам, катится глиссандо, от верха и донизу. Букашка красно-черная поднимается по брюкам и ничего не боится, и ничего не слышит. А я все слышу, вот и голос Ямуны, расколотый посередине на два регистра резко: грудные ноты и вдруг — фальцет, на высоту взбирается изредка. Надоела. Не дает вслушаться — все пилит и пилит. Голос у нее потому так расслоился, что она всю жизнь на нем ехала: учитель. Но вот все не отступает, все учит меня, хотя мне не на что это все. Все учит. А правду-то не скажет, потому что это не нужно, по ее понятиям. Правда, по ее мнению, вредна, и к тому же я все равно ее всю знаю. Да это и не правда вовсе, а так, частности. Ямуна говорит, людям все важно то, что неважно. Но все-таки она это неважное от них скрывает. И обувь в шкафу, в обувном ящике, на газете держит, поперек газеты заголовок дурью: «Статус истины». Я не читал. Незачем. Пробовал, да не понял. Но обувь бы на нее не поставил. Желтизною тронуло леса, или это поля вдалеке? Я их слышу, потому и сюда хожу, я не могу их не слышать, должен: боюсь, что вдруг день пройдет, а я ветра не делил. Ветер все в себе имеет, ложечку даже такую, чтобы быстро все звуки отсчитать. Но мне ложечка, то есть наоборот, вилочка не нужна. Вилочка, по которой звенят, чтобы дальше звуки считать. Камертон. А мне не надо вилочку, и ложечку я потерял тут, серебряная ложечка у меня была, сначала думал, я из-за нее все так слышу хорошо, а потом потерял — или украли, пока на спил положил. Рыбачка рядом. Может, она взяла? А мне ложечка не нужна, только пролетарской ложкой противно чай мешать стало. Дай ему пролетарскую алюминиевую ложку, — Ямуне говорят, — а этой никогда не будет. Тяжелая, большая была, раз я мужчина — мне Ямуна дала ее сразу. Но вот потерял, теперь легкой обхожусь, а все равно — все слышу. А кто украл — что слышит? Я сам его слышу. Я все слышу, да правду-то не скажу. Она не нужна, ее все и так знают, да все равно огород копать надо.

Сегодня зной, а ветер ледяной, но он не вредный: с полюса просто дует, но все равно сухой, как наждак, и все же мягко-мягко так по щекам водит. Но никак не могу сегодня услышать ничего, дослушать только мне и надо, а в первый раз я все понял, я все понял, все понял, когда в дождь сюда пришли. Потянул, а что она сделает? Ведь после обеда сюда надо, собралась, пошла. Однажды руку обварила паром от чайника, плачет, а мне сюда надо, завернула полотенцем и пошла, и плакать не стала, а голос дрогнул в грудь сразу и так зазвенел, как верхушка, а что сказала, не помню. Помню, что сильно звенело, а о чем — она потом велела узнать. Когда ее не будет. Когда ее не будет, тогда пойму. Я лучше слышу тех, кого не будет, кого не было, кого не найдешь тут. Ту-ту-ту, а я слышу. Они там спорят или выстрелили, а я сижу и от своей вилочки, как от оси координат, откладываю прямую, до скрещения с другой. С другой темой. Тогда пришли, а дождь весь день лил, по глине идти невозможно, глина скользит, красная, белая, бурая, Ямуна цвета называет, и я знаю. А ничего не видно, хоть светло, все

мукой водянистою присыпано, клейстер на земле и вокруг. Рукой поведешь по клейстеру — следы остаются. А если закричат — тут слышать отовсюду. И услышал. Услышал. Как ложечку потерял, а клейстера не расхлебашь, так и услышал.

Город сначала услышал, он под языком мне мычать начал и потом встал где-то, где — не знаю, но серый такой, и под дождем тоже. А зелень тальниковая изнанкою по нему стелется. Серая тоже, только иззелена, как из-под сердца. По тому, как звуки там толкались, я понял, где какой квадрат стоит. Сто квадратов в городе, но последние девять нечетко вышли, когда чертил их. Я сначала на контурной бумаге разметил их, пока Ямуна руку вечером маслом мазала. Как где звуки толкались, по тому понял, где — камни, а где — пустота. Резонанс. Он рядом, город. Но он не такой, как сейчас, а какой раньше был или какой потом будет. Он большой сейчас, и шум слушать мешает. Бывает тишина там — лошади и то не доищешься, разве что старьевщик проедет или таратайка детсадовская полднишки повезет. А все люди дома или на усадьбах сидят, что в зной, что в дождь. А третьего и нет почти. Только чтобы огород вырос. А по верхам все сиренью заполоскано, в Намангане яблоки зреют ароматные. И когда тихо было от воды, я все услышал. Слыхали ль вы? Слыхали ль вы? Слыхали ль вы?

Люди — это лады, я их слышу потому. Все люди — это лады. Ладов-то не так много, не так много тональностей людских, но как на всех хватает? А потому что орнамент у всех разных. Ритмическая шитва разная из этих ладов нашита. А меня в школу не взяли, потому что ритм не смог осилить. Хлопай, говорят. В ремеслухе бывшей были, в квадратной комнатке наверху дома, откуда все видно, во все стороны, четырехсторонний свет в комнате, и вид на реку. Ямуна привела, а она, четырехсветная там, говорит:

— Я поиграю, а ты нотку мне найди.

Я все нашел ей, не глядел на нее даже, не подглядывал, где жмет. Она тогда по несколько нот стала жать — крадучись, чтоб не видал я, а я снова ей все нотки нашел — и те, что внутри, — тоже. Только ничего не говорю ей и не улыбаюсь, как Ямуна. Я ее улыбочку терпеть не могу. Я им хмуро стучал по белому, а потом и по черному, и всё. По четыре ноты сразу находил, им дивье, а я даже не думаю, я их слышу сразу — мне только одну нужно ударить было, типа ложечки она мне, чтобы от нее откинуть на другие, что слышу. Слышишь ли ты, батьку? А я своего не знаю. Я его слышу только, а не он — меня. Ямуна читает: «Слышишь ли ты, батьку?» Я слышу, мне батька ни к чему. Я пыток их не боюсь. А тут заплутался. Та говорит:

— Сейчас стучать, хлопать буду, а ты повтори.

Дура, что ли? Я, как паром о причал дребезжит, слышал оттуда, а она хлопать стала в час по чайной ложке. Шитву повтори, недоумок, — мне — взглядом. А там окна во все стороны, светлое окно на вокзал, а я поезда два на сближение услышал, диспетчер орет поверху, но его им не слышно за движением, а поезда навстречь бьют, по одному пути наглухо, я слышу, как рельс надрывается, а поезда в два голоса, звонко считают. Я ей узор этот из двух встречных выдал, первую партию, восточный поезд — хлопал, а поезд с запада — ногой по паркету отсту-чал. Новые туфли Ямуна надела, паркет под мастикой, красиво вышло, а я еще руками дробь — за локомотив, и еще шалый вагон какой-то, болтанный, подголоском, языком отщелкал. Разволновался я — а диспетчер орет, но им не слышать за движением, да и эти-то, при штурвалах, что сделают? И молчу. Разошлись — по разным рельсам пошли. «Мать твою», — диспетчер по громкой связи. И я: «Мать твою», так в нотах потому что. А она ждала, я ее стучать буду. В час по чайной ложке. Мне восемь было.

— Не знаю, чья тут мать при чем, — говорит.

И на Ямуну не смотрит. Ямуна ведь — мама мне. Она иногда представляет, что — бабушка, но я так не зову ее. А люди верят, да правду знают, а что в ней? Сказала бы уж Ямуна правду, раз так. А она меня за руку взяла, и я уже сам пошел, на темное окно, в дверь. «Спасибо». За что? «Нет», — та говорит. А кто велел так испытывать? Как нотки, так по всей ширине била, а как шитва — так хлопать. Убери свои руки, я тебе все, что могу, показал. Крушения не было, и то ладно. Сходили. А больше она меня не водила никуда. Хотя я всё и слышу. Всё-всё-всё. Дома вздыхает она. И мамой на людях не назови. А туда же — «Слышишь ли ты, батьку?» Как меня крутят, так даже ее, матки, нет, как будто с нее кто тянет батьку, за язык спрашивает. «Мать вашу», подлинно. А моя где? Между нами интервал в годах большой, составной, ундецима, так вот бабкой назвала его. А мне мать. Кому что еще надо? Больше никому ничего от меня, только чтобы голову накрыл, и то несильно.

Я по книге что-то копал дома: все люди — лады, и я свой искал. Свою тональность. Я раньше ее знал, с самого начала, имени не знал. Олегом зовут, а я знаю свое настоящее имя, отключку, только стесняюсь. Назваться боюсь, а ритм и вовсе не простучать вовек. Он — даже мне сложный.

Ритм — секрет. Даже от меня секрет, так — прокидывается иногда до слышимости. А тональность свою сразу нашел. Fis-moll. Фа-диез минор. Звучит как ругательство. Имя идиотское, вроде Олега. Но музыка — моя.

А город когда услышал, людей услышал. Там бегают между коробок и внутри. Коробка — квартал. В квартале — несколько домов, усадеб то есть. На пятнадцати кварталах — центр, там каменные дома, а все остальное — усадьбы. Домик, или дом побольше, или завод кое-где, а где дом, там огород, сад, а где завод, там вокруг масла налито. Пути железнодорожные начертил — они уже за городом, за поселком, а за путями — заводы.

Я как имена начал слышать уже не в дождь, Ямуну стал спрашивать.

— Что такое «закатка»?

— Консервный завод был такой.

— А «фильтр»?

— Это спиртзавод так назывался, бывшая винокурня.

Про турбинку еще спрашивал, но она ничего не сказала. А вот сегодня людские имена послышал. Слабо так донесло, и непонятно, куда, как приду, лепить их, на какие квадраты. Сначала просто до-минором, с-moll потянуло, тянет и тянет натуральную гамму, а потом по тоническому трезвучию имя прошло, как в арпеджио, по листочкам. И аккорд. Па-ри-та-на. А потом из той же натуралки пошло в другой, но родной ей, тональности лепиться. Марья-на. А-на. Ми-бемоль мажор. Es-dur. Домой пришли, а там опять «Патетическая» с самого начала по радио. Эмиль Гилельс, шестьдесят восьмой год. Мне пять лет тогда было. Но это не моя тональность, хоть и любимая музыка Ленина, как Ямуна говорит. Она — с ним. Как застигли, как понесли по радио, а на улице, в поле, снова гроза собирается. Белая, подшитая чернотой

туча так и перекачивается над полем, а поле само катится то к небу, в даль, то к нашему окну, то — и туда, и сюда — при повторе главной темы. Гонится, мечется трава за всем, что в этой музыке есть, а туча все сюда идет. Я вышел в комнату от окна, потом на кухню, там Ямуна наскоро верещагу жарит.

— Ямуна, — спрашиваю серьезно, — а кто такая Ана Паритана?

Она так и замерла на миг над плитой, и музыка замерзла. Она очередной кусок на сковороду наконец положила и говорит:

— Откуда? Кто сказал? Нет такого человека. Не было.

Я говорю:

— Дак двое-то были. Один — повыше, другой — пониже. Один — веселый, другой — серьезный.

Я ей не объясняю, что «ми» выше «до», пусть понимает как умеет. И слова тоже идиотские говорю: не веселый, не веселый этот А-на, а прекрасный, спокойный, как «Ты мой покой». А тот — не серьезный, это так, для нее, а он, Паритана, как скорый экстренный, как поезд в торможении, а ведь он — всерьез так. Поди увернись.

Она жарит, я жду. Верещага длинно так стонет на сковороде, это молочный хлеб в омлете, мы летом мяса не едим, хранить особо негде, да и купить тоже задача.

— Не Паритана, а Паританов, Андрей Паританов. Это дедушка твой.

Как ты бабушка, что ли? Хотел спросить, но не спросил. Я щажу Ямуну, женщина, хоть и член ВКП (б) с военного года. Старуха тем более. Так сама себя зовет наедине со мной. А мне что? И больше ничего не говорит.

— А Ана — бабушка, Анна то есть, что ли?

Но вижу, она не хочет уже говорить, и волнение ее прошло. Верещага вся заполировалась, а хлеб метеоритами высится. У Ямуны все вкусно, у нее всегда есть что-нибудь вкусненькое. Нет, она не бабушка, Марии Паритановой не было никогда, говорит. Я говорю, была, а потом вспомнил, что тональности-то две разные были, хоть и родня, свои.

— Они брат и сестра, что ли? — говорю.

А потом вспомнил, что раз не сестра ему, значит, и не бабушка. Тогда она бы мне двоюродная бабушка была. Это все равно что настоящая, особенно если настоящей нет или есть такая, накладная, вроде мамы.

У мамы моей тональности нет. Вот не слышу. Никогда не слышал. Она — как гул, в котором все тональности есть, так что кажется, никакой нет. Как белый цвет, в котором — всё. Я обычную школу не окончил, не дотянули, но учился, Ямуна говорит, есть хоть прок от того, что она шошка-ерошка и отличник народного образования. Уж тебя-то мне должны были образовывать. А музыку не должны и не преподали. Но все равно — убила ее эта хлопальщица.

А меня не убила. Стукалка топорная. Под локомотив ее. Убила, да не до смерти. Серафима не злится. Ее ведь не Ямуна зовут, Серафима, Серафима Николаевна, такое имя ей поп дал. Пока я ее Ямуной не назвал. У нее тональности нет, нет. Только ритм ее всегда знаю, шум, шитву, вот как листья шелестят над головою. Ради них и ходим, слушаю, пока лето. Пока осень. Да и зимой иногда. Но летом — главное. Летом. Летом. Я в мае родился, в конце, Ямуну слушать. Листья шелестят, высоко дрожат, туда хочу, чтобы орлы меня приподняли. Серафима Николаевна тихо сидит рядом, тоже листья слушает, свои листья. Сказки кончились на сегодня. Может, и про Анну с Паритановым что скажет. Он ей не отец. Потому что моя и ее фамилия — Грифцовы. Значит, этот мой дедушка, Андрей Паританов, — папин папа. Не надо ходить в школу, и слух не надо иметь мой, чтобы это рассчитать. Хоть я и в школу ходил и все — слышу. Да не это главное, не это».

* * *

Неистово-раскаленный почтовый ящик стоит на покосившемся обломке рельса, на перекрестке дорог: одна — от приречных усадеб деревни к магазину, другая — через деревню в город. Деревня Алгин, город — Тубул-Курган. Ящик опустошают раз в неделю, за это время, кроме нескольких писем, в нем скапливаются мертвые насекомые, в него падает деревянная палочка от эскимо — чисто вылизанная, без всяких следов молочной сладости, но ее неуловимый запах так и кидается в лицо экспедитора, когда он наконец проверенным жестом выдирает отягощенный письмами и мусором мешок из паза.

Дети пишут друг другу из деревни в деревню, из тубульского Алгина в воронежскую Ольховку, степь смыкает свои кольца над их раскаленными головами, а на конвертах стоят малоизвестные кому-то кроме них знаки. «Сегодня = Всегда». Рядом с магической пентаграммой и алым абрисом их пентаграмматически-растянутого государства рисуются другие звезды, а к алой марке «Почта СССР» стыкуется артековская абракадабра клятв, напоминающая арабскую вязь: бисер самоценных букв, убежденность, слово «обязательно». Ящик кален, а слова рвутся из тюрьмы в даль, в нечеловеческое будущее — они разрывают ржавую утлую коробку жаждой революции. В сейфе сухо, мертво, чернила клятв разноцветны, а новости так сухи. В городе у нас столько памятников, и поставлены они — список имен. Возле нас идут раскопки, но на раскоп не пускают. Нашли целый город, говорят, но не велят говорить никому. Надеюсь, вы дождались брата из армии, твой племянник здоров, а мы обязательно встретимся. Артековец сегодня — артековец всегда. Пиши.

Обратно мы ехали на поезде, который перед этим хотели списать в утиль. Представляешь, каким он был?!

Пионерский привет горяч и неподвижен, и, как магнит, тянет его глубь, прохлада земли. Упругий яр изборорожден холмами — мелкими кочками, старинными захоронениями, курганами малозначащих людей. Курган местного царя далеко, километра за четыре, Ханский курган — еще дальше, а здесь — не огражденная новыми раскопками земля томится о том, чтобы вывернуться наружу, все поведать тому, кто слышит ее глухую тайну, которую и выдать-то не суждено, потому что она так хорошо известна, что уже непроницаема.

Все давно известное недоступно для понимания, а значит ли это, что и обратное верно, и не известное никому есть всеобщее достояние и именно как таковое снова становится тайной? Кусая хвосты друг другу, истина и тьма носятся по кругу, и где короткий миг настигания, чтобы познание совершилось? Шулерская игра ли, лукавство ли высокой истины бьется в беге сущ-

ностей, а таков и выдох полярного льда в мерной зыби алгинского зноя. Горяча земля, но это лишь ее поверхность, а за травой, за никогда не паханным прахом дурного, бросового клина, лежит черно-пьяная, смородиновая прохлада чернозема, лучащегося влагой на глубине, чувственного и вызывающего. Там, в хляби земной, есть что-то. Там естество, полное маточного молока, давней, истлевшей и нужной ли когда плодородности. Нет, не кости предка, а малый кумысный торсык, холодная сума из кожи. Матка рукотворная, а в ней — что? Скорее домой, там в тишине разобрать клад, пока никто не узнал, не увидал, с раскопа пока чужие не пришли, — в новой темноте сокрыть его и при свече разложить что там есть на столе, предварительно задернув шторы веранды.

В двадцать седьмом году наступил в соседях, в Казахстане, Малый Октябрь — великий голод погнал казахов россыпью по миру и из мира: миллионы умерли в степи, как их отнятые стада, стон встал, как меч, воткнутый глубоко в землю и пружинно-безмолвно качающий медной рукояткой; так и стоит в земле. Это он ли? Шли казахи в Китай тьмами тем, сотнями тысяч, а узкая змея потока потекла на север, в Россию, хотя из России беда и пришла, из нее приехал Малый Октябрь, Великий Джут, голод. Племенные пастбища ушли под общую, но уже не родовую землю, и на малых пятачках соседских земель, как здесь, в Алгине, селились кочевники, потерянные везде, где нет простора.

Попав случайно в русские дома, они спешили возлечь на полу, бросив прежде вместо кошм и ковров свои полушубки. Оглушительно громко, гортанно клочкотали — длинной молочной мелодией из сонорных и гласных. Делали кумыс, продавали его в городе до последней возможности, крепились при кумысной лечебнице, кто смог, а за границей огромной Уральской области, слепленной из Аргаяшского кантона Башкирии и новонакраенных советских губерний — Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челябинской — гремел Шая Ицкович, приехавший из России Великий Джут в человеческом обличье. И звался он красиво, Филиппом Голощекиным, и пролетарское имя давало ему в голощечной, голостепной земле рядом — великую силу.

Они ли, беглые казахи, оставили свои молочные письмена в суме своего изгнанничества? Или — старые люди сорока веков назад взглянут сейчас из белого маточного нутра в твой черный глаз? Двадцать веков или пятьдесят лет — вздрогнут, увидев шелковые кудри?

Над желтым абажуром вьется редкий гнус, а чистые стекла веранды, сотрясающиеся от ночного лёта военных транспортов, — взрослые судят, что скоро будет война, — показывают вблизи зелено-черный, шевелящийся оскал акаций. Веселенькие желтые шторы все-таки забыли задернуть, и вот рядом, из нижней ночи, глядит лицо слабоумного мальчика. Сеня. Его зовут Сеней. Но не в лицо стоящей у окна и высящейся над ним он смотрит, а на стол. Там — торсык с распушенной шеей и чем-то белым внутри, видимым только ему. Его точка зрения лежит на одной прямой с линией поверхности стола под черно-красной скатертью, и он как будто уже видит, знает, что там. Внезапно он мычит — грубым голосом, но удивительно точно и в эталонном темпе, — победоносное вступление «Героической» симфонии.

Так что смотрит изнутри на нового Наполеона, еще не остригшего своих аркольских кудрей? Или кого поднимает из земли эта исследующая возможности ми-бемоль мажора и человека — человеческая, плотная труба?

* * *

«А я знал, что это она ложечку взяла. Я как ее увидел, на меня сразу музыка рухнула, начало одной симфонии Бетховена, ее тоже по радио часто передают. «Героическая», кажется. А вот я не герой. Но музыку хорошо запомнил, а тут мне ее и вспоминать не надо было, только повторить, — партия трубы как полилась откуда-то рядом, как вода из водостока, когда там кирпича не лежит, или еще чего-нибудь, с крыши упавшего. А у нас даже метеориты иногда с неба падают. Железные, каменные капли, — я видел такую каплю однажды, Ямуна говорит — «метеоритный дождь». Если такой кусочек сдать куда-нибудь в Академию наук в Москву, премию дадут.

В Академии наук
Заседает князь Дундук.

Это Ямунина шутка. Она науку презирует, дундуков то есть. Засели дураки, подумать некогда. Метеориты железные бывают и каменные, я видел раз звезду падающую, пошел за ней, а не нашел ничего. Кажется, близко, а до места падения двое суток на поезде, может быть. Сибирь. Так ничего и не нашел. А она вот ложечку мою нашла. И я кричу, пою, а она что-то прячет со стола, но про ложку и не думает. Она так и сверкает, а я распеваю. Хорошо мне так. Тут взрослые пришли, мать ее встревоженная. А я пою. Голос у меня странный, но я управиться им умею. Горло, как труба, та-та-та. И смеюсь.

А рыбачка испугалась. Меня девки в этой деревне все боятся, кроме одной. Даже рыбачка остерегается. А одна не боится. Она и выдумала, что я ее... того. И хоть потом все узнали, что я там и не стоял рядом, все равно не боится. Что я ей сделаю? Она на меня почему погнала? Ее где-то засекли-заприметили, я не знаю, как вообще это можно узнать-допытать, но вот начали ее пытаться дома — как, где, погнали бочку. Она говорит: это Олега. Те к Ямуне.

Ямуна:

— Минутку. Минутку.

Но какое там «минутку», они уж с участковым привихрили, мне шестнадцати еще не было. Шум. Тихий шум. Орать-то совестно, хоть и хочется. Пошуметь на кого-то, раз такое дело. Раз не доискались чего-то, а доискались совсем до другого. В какую-то поездку собирали девок, на вшивость повели в КаВэДэ проверить, волосы потрепать, а там уж заодно решили углубиться. А я в нее не углублялся, мне это не нужно. Ямуна меня даже спрашивать не дала никому. Говорит: «Права у вас такого нет — допрашивать ребенка без законного представителя. Я вам пока такого права не даю, я — законный представитель, а, как педагог, лучше и с вашим ребенком перемолвлю — раз вы сами ко мне пришли». Короче, это парень один был, он на каждое лето к деду приезжает откуда-то с юга. Это уж девчонки другие их засыпали. Ничего невозможно утаить. Ширван его зовут, вспомнил. Еще одно идиотское имя. Но парень красивый, почти как я. Я себе красивым кажусь иногда, однажды показался и так себя запомнил, а другим, поди, не кажется. Ширвана бабы привечают, он меня младше еще, лет пятнадцать, но они не считаются ни с чем. На Ширвана набежали, а он что, а он говорит: «Она меня годом старше, я причем, она меня сама в тальники увела».

У нас берег крутой, а другой — весь зарос дрянью всякой; кто туда плавает, говорят, там беседки в зарослях вырублены сто лет назад уж, они как дома, ни с какой стороны не видать, только тропинку знать надо. А чего ее не знать, весь берег ходит. И пьянь всякая сидит там днем, от жары спасается, а вечером сигареты пыхают — с этого берега видать. Музыка из

приемников, тишина. Я так бы хотел туда сплавать, но Ямуна не дает. И сам я не могу. Боюсь чего-то. Вообще воды боюсь. По колено зайду, и всё. Только штанины закатаю. А Натаха, так эту девку зовут, Ширвана туда сманила. А он и пошел. Я бы тоже пошел. Река там широкая, правда, но ведь интересно. А в городе река уже, но и там раньше тальниковые купы, а в них — тайники были. Тайно повидаться можно. Одна такая и на этом берегу есть. Только она вся загажена, плыть-то до нее не надо. Окурки девчоночьи яркие, бутылки, обертки от мороженого, и земля вся выбита. А ивы от середины во все стороны покато стоят, полулежат, так что можно лечь на них и качаться. Как гнезда, только человеческие. Красиво. А Ширван теперь героем ходит, но в этом году что-то не приехал. Тело у него маленькое, при росте, но цыплячье, а трусы плавательные модные, и глаз от них не оторвать. Мне совершенно незачем, а я как дурак смотрю и смотрю. Я-то сам всегда в одежде, но с лицом голым, с глазами, а Ширван вечно голый ходил на пляж, зато в черных «очах». Так ему, наверное, не так стыдно, что все на него смотрят. А с другой стороны, зачем ходить. Наташка Ширвана уже забыла, поди, а люди всё на меня думают, хотя и все знают, что не я. А он ее, поди, не совсем забыл. Курганские — самые липучие девки на свете. Как тальник облепляют, обрастают, охмуривают со всех сторон, так что не вырвешься, одна дорога — не ходить и не соблазняться. Я вот не хожу. А все равно мать рыбачки как вышла, как воззрилась на меня, будто я сейчас ее дочку заматаю. Она кого хочешь сама своей лесой заматает, только удит пока здесь, а на ту сторону не плавает ни с кем. Боится воды, что ли; смешно.

Выбежали, а я уже всю партию трубы спел. Рыбачка свое схватила — а мать и не смотрит на нее, а на меня только. Ужас. А тут и Ямуна подошла. Она с улицы меня услышала, может быть, и не искала меня.

Мать на крыльцо вышла, говорит нам:

— Заходите или тут, во дворе посидим. А лучше заходите.

— Мы на минутку.

Я Ямуне шепнул, что ложка-то тут. Я могу при случае, дипломатично — а не только во все горло. Мелодия в меня осела, уже из горла не строчит. А все равно уходить не хочется. Она поняла, что я пить хочу, сели.

— Спасибо, что ты ложечку его нашла и сохранила. А то кто-нибудь чужой подобрал бы ее.

Ямуна тоже дипломат страшный иногда. А рыбачка в краске:

— Я и не знала, что она ваша. Просто подобрала. А спросить не у кого.

— Ты, если что хочешь спросить, спроси. Я тебя у раскопа видела.

— Они меня не пустили. Я свой открыла.

— А открытый лист у тебя есть?

Рыбачка не поняла.

— Каждый, кто ищет что в земле, должен в Академии наук открытый лист получить по форме. Первой или второй. А до того — касаться земли права нет.

— Это когда такой закон приняли? — мать спросила.

— А вот года три назад. Но к детям он не относится. Я так вам говорю. Для сведения.

О, дипломат Ямуна, вкрадчивый шулер. И продолжает:

— Что ты нашла?

— Еще не посмотрела. — И думает: — Посмотрю, вам покажу.

— Ладно.

Ямуна не из Алгина вообще, и не курганская, а с севера, из настоящей Сибири. Оттуда, где, она говорит, ледник был. А ледник до нас не дошел, он в Тюмени встал. Или в Тобольске. Там рыба редкая, великие бора, города губернские, настоящие. Там — изобилие. Она — оттуда. Но она тоже обволочь может, не отступится. Если уж что захочет. А я не такой, я — вольный. Ничего нет у нас, только воздух. И земля. Земля не северная — все родит. Только мы, я и Ямуна, ее не касаемся. Не наше.

Чай красный, густой, душистый, и яблоки нового урожая на столе. Благодать. И ложка моя. Тяжелая, черенок витой, с чернью. Ямуна не смотрит вокруг себя, у нее этого завода нет: озиаться. Обстановку высматривать. Ничему не изумляется. Только вдруг смотрит куда-то и говорит:

— А я старую железнодорожную эмблему вижу. Топор и якорь.

Рыбачка сняла откуда-то, подает.

— Это я достала.

— Тоже из земли?

— Нет, — смеется, — из воды. Из рыбы.

А мне так грустно вдруг стало, я заплакал бы, да про меня забыли все. Некому смотреть. А что слезы, что Ширвановы штаны — показать интересно. А они галдят. Говорят неважное что-то. А Ямуна все на эмблему смотрит, смотрит.

— Нельзя ли ее взять? На время у тебя? — спрашивает рыбачку.

А той видно, что жаль, но она Ямуне верит, что на время. Кивает.

За окном тьма, и окна как задребезжат, как загудит все вокруг, кажется, что река немного на оба берега плеснула. Это транспортники летят. Засиделись, значит: транспорты только ночью и поздним вечером летят над нами. Ямуна встает:

— Нам пора.

А мне грустно, но не из-за них. А так, снова устала музыка, и только гул, гул военный над головою».

* * *

«Все ищут, копают. Могилу вот иллирийского князя нашли в Сербии, передали по радио. А на шведском Готланде всё каменные топоры достают из моря. Мания раскопок, вся моя жизнь прошла при ней. Ну не только моя: питекантропа нашли еще в девятнадцатом веке, в тысяча восемьсот девяносто втором году, на Яве. Ты вот папиросы «Ява» черные куришь тайком и даже не знаешь, в честь чего они названы. Когда-то те места считали человеческой родиной. Сейчас не то. Сейчас, по последним данным, она в Африке. Оттуда пошло все расселение и до нас докатилось, сильно спустя. Ява была популярна до революции, отсюда и название. А я еще помню другие папиросы: Ленинградского табачного треста. «Сафо», папиросы №6, «Нева», «Зефир», «Осман», тогда и пачка была больше. Вообще все стало как-то скучнее, мельче. Но это старость во мне говорит. Я сама уже — ископаемый человек, и даже походка похожа: косолапая, ведь правда, руки донизу висят, заметаю. Я видела под столом, что она достала из своей земли. Выкопала. Пачка «Османа» там сверху лежит, темно-синяя с желтым. Так мне показалось. А тебе как? Не нравится, что я эмблему взяла? Ну-ну. Никому не говори, слышишь ли, что мы видали, что она что-то достала. Иначе все отнимут у нее, а я еще хочу посмотреть, что это. Молчи и всё. Копать землю — подсудное дело. Недра принадлежат народу потому что. Нужно разрешение, открытый лист. Но это по закону. А еще по закону — молчать о том, что знаешь. Молчи и всё.

Взволновали вы меня, дети, — и вас захватило это. Человечество радо открыть свое детство, и открытый лист ему для этого не нужен. Курганы всю дорогу роют, вся земля уставлена курганами. Только зовут их по-разному: курганы, дольмены, пирамиды. Пирамиды — в пустыне, дольмены — у кельтов, во Франции, в Бретани, а курганы — по всей степи. По всему поясу. И только у нас само место называется так, потому что мы — курганный край, и ничего больше. Раньше ведь не было никакой археологии: так, наместник сибирский, князь Гагарин, по Петрову наказу послал двух служилых людей, дворянина и крестьянина, собирать сибирские древности, и насобирали они сибирскую коллекцию для Эрмитажа. Нахитили, попросту говоря. Что-то, возможно, и из наших курганов достали, но вряд ли. Наши — Царский курган, Ханский курган, Степной, Бабий, — говорят, чуть ли не на следующий день после погребения разорили. А настоящие работы никто здесь никогда не вел до пятидесят девятого года. Но и тогда ничего не нашли. А сейчас снова ищут. Да, к счастью, не там, где надо. Ей вот больше повезло. Похоже, ловит рыбу она удачно.

Но это так говорят, что не велась работа до пятидесят девятого года. А я помню, в тридцатом году вышел сборник «Курганный округ» нашего Общества краеведения, там было много интересного. Правда, и тогда признавали, что планомерно и научно никто здесь ничего не раскрывал. Только нашли соляные знаки. Их тогда так уклончиво не называли, а просто говорили — кресты, только не христианские кресты, тогда как раз их нельзя было очень поминать, только в отторжении, — а так называемые свастики. Тогда это слово в кавычках писали, оно никому не было толком знакомо. Этими свастиками у нас все горшки покрыты, с глины знака не выкинешь. Она, и еще зигзагообразный орнамент, — все, что есть. Тогда уже был фашизм в Европе, но так, как клуб по интересам. Никто его не боялся. Свободно писали. Но, впрочем, у нас были только кресты, непохожие на христианские, а точное воспроизведение свастики отыкали лишь в одном кургане тогда только под Сухомесовской, это деревня такая была в Челябинском

округе. Тогда и Челябинск, и мы — это были всего лишь округа одной Уральской области. Я помню, сама читала этот сборник, мне пятнадцать лет было. Помню, писалось, что свастика — это изображение приспособления, с помощью которого в древности добывали огонь трением. Вот и вся мистика. А потом уже начался весь этот сыр-бор: «божественная теплота», солнце и мощь. Тогда обо всем этом писали открыто. Сейчас же я тебе говорю это прикровенно, тайно. Видишь, в какую дурную компанию попало это трутовое, или какое уж оно было, скрещение.

Писали еще, что знак пришел из Средней Азии. Не знаю, так ли. Мы, хоть и были Уральская область, а сейчас кичимся, что мы Сибирь, — к Азии, к глубине юга лежим. Ледник, когда отступал на юг, в Тюмени остановился, а укрепился где-то под Тобольском. И вот смотри, как климат отличается и сейчас. Здешняя голая горячая благодать, виноград вызревает, — и их трудное, северное, тяжеловесное богатство: рыба, ягоды, всё, сейчас еще и нефть привалила. И Транссиб прошел по нам, отсекая север. Через степь, по старинным караванным путям, на Исылкуль, на перекресток Шелкового пути и троп, которыми кочевники скот гнали.

Путь первым через Курган прошел, в тысяча восемьсот девяносто шестом году регулярное движение началось, а с девяносто третьего — от случая к случаю поезда шли. Валило переселенцев в Сибирь через нас немало. Но я этого не помню, я спецпереселенцев помню, ссыльных, как их гнали ни с чем. И тоже все дальше, на север. Загнали их туда и погубили там. А мы все видели, все волны через нас прокатились. И гунны через нас прошли из Китая на Запад, и арии — еще раньше тоже через нас, из Ирана кружным путем в Индию, вновь в Иран. Никто не знает, откуда они к нам пришли. Впрочем, говорят, что из Передней Азии, из Месопотамии. Но у нас были. «Арийский простор» свой в «Авесте» воспели — по нам, по нашей степи. Впрочем, у нас уже и степи нет: все распахали, все под хлебом. И все его мало! Когда южные районы распахивали, целину, каменных идолов немало выкорчевали из земли. У нас и в Казахстане. Но большой истины так, трактором, не найдешь. Истина с неба открывается. Вот когда начали делать аэрофотосъемку в Первую мировую, тогда археология вперед шагнула. Сверху ведь все видно.

Вечером или утром, когда тени длинные, на полях отражается вся их история: полосы теней складываются, когда снимки читают, в одно, и оказывается, что это древние межи. Или торговые пути: караваны выбили такие глубокие следы в поле, что они не сровнялись и за века — так, прикрылись травой. А сверху все видно, все открывается глазу с высоты — не тому, который лишь чуть-чуть возвысился, на человеческий рост или один прыжок льва. Конечно, лопатой и кисточкой по-прежнему приходится орудовать археологам, но это мелочность.

А почему я о льве говорю, потому что в наших курганах, по нашему осколку Сибири, находят вещи с изображениями животных, которых у нас вовсе не водится. Лев, лань, благородный олень, горный баран, мул, сокол, орел. У нас только орел-могильник живет, так назван, потому что опять же любит на высотах сидеть, оттуда местность обозревать, а что у нас высокого? Только курганы. А что курганы? Погребения. Неживое дольше всех живет. Ну еще города. Еще — дороги. Обсерватории. У нас тут, кстати, открыли, смеху подобно, ты слышал, Вудхендж свой. Обсерваторию древнюю, вроде Стоунхенджа, только вместо камня — следы от глубоко врытых бревен. Как бревна могли сохраниться тысячи лет? Никак. А следы нашлись. Летел кто-нибудь до Тюмени и увидел.

Вот еще показательно, что между Тюменью и нами железки нет. Тебе скажут — болото, почвы трудные. Ерунда. Это просто граница ледника, великий раздел. Мы — другого мира. Они — чалдоны, и я чалдонка, а здесь — арийский простор. Твоя земля. Лев, сокол, лань,

благородный олень, горный баран, мул, орел — это все фауна Иранского плоскогорья, и весь сибирский «звериный стиль» — не пугайся, так называют вещи с изображениями животных, — это наш образ украшения жизни. Люди принесли его из Персии, это мы всегда знали. В двадцатых годах никто не сомневался, открыто говорили об этом. Когда же фашисты вошли в силу, и еще видишь, что вышло, какая буча мировая, на крестах их поставили крест. Погрузили в молчание. Отдали ученым, в закрытый фонд.

Ты знаешь, я думаю, что этот закон приняли три года назад не потому, что мания копать уж так сильно их встревожила, а потому, что город рядом с нами нашли. Как всегда, с воздуха увидели, я думаю. Синташта. Настоящий город, пять тысяч лет древности или около того. Старый, как Иерихон, только бессловесный. Все, что от него осталось, — знаки в траве. А когда пришли с лопатами и картами — без них тоже никак на земле, — сделали раскоп, открыли, увидели: здесь город был, оседлого житья мир. Разные строительные материалы, даже, представляешь, ливневые стоки предусмотрены. Это о чем говорит? Не кочевник в состоянии пронаблюдать, как воды живут на малом пространстве, как они движутся, куда стекают. Это оседлый, наблюдательный человек. Мало кочевничьего там нашли. А посуда опять их смутила. Ты слышал что-нибудь об этом открытии? И не услышишь. Там вся посуда в свастичном орнаменте. Или нет, на дне горшков — свастики. Видишь, я не могу тебе сказать, так, гадаю, всё засекретили потому что.

Синташта — это приток Тобола нашего, течет в Челябинской области только. Там, конечно, руд полно — не чета нашей бедности. Поэтому у них такой расцвет произошел в начале нашего железного века. Мы ведь всё еще в нем. Застряли. «Единство, — говорит оракул наших дней, — быть может, связано железом лишь», так и связывают всё еще. Конечно, не любовью его, единство, в очередной раз свяжут, а придумают волокно какое-нибудь, пластик, не знаю что. И ты не знаешь.

И там, у месторождений железных, эта Синташта и расцвела. Конечно, город не Синташтой звали. Меня вообще бесит это молчание ковыля. Ничего не уцелевает. И я говорю тебе здесь на ветер, замолкну — и ничего не останется.

А с другой стороны, ничего и не скроется. Прятали-прятали горшки свои, а через год в Кургане дети им на школе флаг повесили. Помнишь, ты пришел, а на флагштоке фашистский штандарт висит? Нет, не видел. А малышня плакала от страха. Тех старшеклассников потом прорабатывали, позвали нас, ветеранов войны и партии, лжи и неправды, побеседовать с ними. Дети, я тебе скажу. Баловство, ухарство. «А вот я покажу себя». Но выказать себя хочет так, именно так, потому что не можешь, не можешь ты солнце положить в карман. Ты вот положил эмблему в карман, а с прошлым так не получается. И не получится. Персидское наше прошлое довлеет нам, не дает спать. Как вот ветер подует с Гюлистана, как понесет дух роз, дети — слышат. Вы — нет. А дети слышат.

Мы их увещевали, укорили и отпустили. А они сказали, дома сидели, тайком полотнище шили. Всё дети делают в тайне, крадучись, потому что — что бы взрослые ни сделали, они тайну разрушают. Мы вот тоже им тайну разрушили: вкрадчиво пояснили им, что индийское вращающееся колесо — это символ позора и горя, а они думали — мощи, и солнца, и «божественной теплоты». Так в старинном, тридцатого года, сборнике писали, когда история над нами еще свое колесо не повернула.

Все роют, роют, и никто ничего не кладет в землю, кроме тел. Да еще дети кладут свои «секретики», свои клады, а если они чужой секретик достанут — из земли ли, из рыбы ли, — у них отнимают. То лаской, то угрозой, или вот как мы — и тем, и другим. Бедные, бедные они, дети, беззащитные. И мы их, во «взрослом стиле», никак не можем навоспитывать — никак не можем дать себе отбой. И стыдно мне себя, а я все эту линию гну, гну так, как меня саму учили, и остановиться не могу, как поезд в крушении. Это твоего деда эмблема, он железнодорожник был, в двадцать девятом году исчез. В мундире механика исчез, так тогда уважительно машинистов паровозов называли. Ты реликвию нашел сегодня свою, а не ложку. Мою реликвию. Я, может быть, тебе расскажу о ней. О нем.

И папиросы «Осман» я у него видела, давным-давно, в двадцать седьмом году. Мне было одиннадцать лет, меньше, чем тебе. И чья эта сума кумысная — догадываюсь. И отнять ее могу. Но не хочу. Пусть читает, если там есть что читать, смотрит и думает. Надоело мне выступать разорителем душ. А может быть, это просто старость, лень. Вот мы и дошли до дому. А самолеты уж, поди, над Зеравшаном летят. Там Пенджикент, Согдиана, дальше — Бактрия, а за ними — Баграм, Тилля-тепе, то есть Золотой холм, старые наши кочевые пути. Там и войне быть. Нур Мохаммеду Тараки на помощь. А ты не поедешь. При мне останешься.

А что ты рыбачке-то пел? Наполеоновскую симфонию? Он тоже куда-то к нам рвался, к пирамидам пёр. Что пирамиды? Те же курганы, только не из дерна. И сильно повыше».

* * *

Небо разорвалось и стояло разорванным многие дни, а в разрыв лились и лились все воды, какие только могут пройти над человеком, когда человек сидит на втором — последнем — этаже своего дома и читает, перевортывая страницу за страницей, необъяснимо понятный, хотя и написанный на другом языке дневник. Это дневникъ, с пропусками надолго, с порывами откровенного языка — вечного пера, голубых чернил, бегущих под правильным гимназическим уклоном чуть вправо, слева направо, вниз, вниз, вниз. С каждой страницей, хотя хронологически происходящее становится чуть-чуть, на неделю, на месяц, на год, ближе к сегодня, — читая, погружаешься все дальше и дальше, дальше и дальше. Вниз, вниз, вниз.

Наступила осень в лете, хотя по старому стилю — всего седьмое августа, и вокруг, надрываясь в этой воде, начинается косовица хлеба. На веранде больше невозможно спать, потому что от земли внезапно потянуло землей, холодом избыточной влаги, и потому что взрослым страшно: а что, если снова придет поющий Олег и будет смотреть сквозь обильно-клетчатые, как в голландском доме, рамы? Дом — единственный во всем поселке, чей балкон смотрит на реку, не на улицу. Хотя в других нет и просто балконов. Они все смотрят мезонинами, палисадниками друг на друга, и даже приречные усадьбы отворачивают свои фасады от реки и упирают свои малые окна в свои дворы и узкие улицы.

А этот узкий дом с лиственничными полами поднялся высоко: вытянулся, чтобы увидеть дальние заречные поймы. На втором этаже — две спальни, и главная смотрит на северо-восток, за реку: маленькая сама, она лишь двустворчатой дверью отделена от глубокого, три на три метра, балкона, увитого плющом. Мебели в ней нет: постель из светлой березы да комод, единственные вещи, оставшиеся от прежних владельцев, от уехавшего из города учителя астрономии и его семьи. Но и он мебель не покупал, а принял, купив дом в сороковых.

В спальню входит снизу столб голландской печи: черный полуцилиндр, раскаляющийся, когда на кухне бросают в топку березовые поленья. Сейчас она — холодна, хотя по деревне от некоторых изб вторую ночь тянется ободряющий новый дух новой осени, новой зимы. Слишком влажно, и в этой обступающей влажности страницы перелистываемого, бережно и изумленно, дневника приобретают рыхлую тяжесть, странную близость плоти. О ней там речь и идет: то о больной, то о страждущей в этом прекрасном и невыносимом климате, то о поющей, то о. Трудно читать о том, чего не знаешь, но труд этот остается незамеченным, только щеки дико горят вечерним влажным жаром — то ли от холода, то ли от прочитанного. Дневник приходится прятать при каждом выходе из комнаты и каждом спуске вниз на кухню, она же и общая комната. За ней есть еще одна спальня, место взрослых, из которых сейчас есть в доме только один, другой всегда в городе, и так, изредка сменяя друг друга, они доживают здесь лето.

Книгу приходится прятать под подушку, но вечно в это время приходят снизу перестилать белье. Книга прячется в последний момент в комод — там внезапно затевается проверка числа чистых простыней, подзоров и носков. Дневник уносится на животе под футболкой, и это вернее всего: если уж беременность они смогли не заметить, то о тонкой черной высокой тетради в твердом переплете говорить не стоит. Беременность была фантазией и кончилась еще в мае три года назад открытием — трудным — истинного положения вещей. Ум, разум убеждает в невозможности подобного, он знает все, но что-то внутри, слушая «Баркаролу» Чайковского, мелодию июня в прогнозах погоды, говорит сильнее и весомее: откуда то, чего не было? Эти странные вещи, вопиющие своей новизной. Что это? Это что-то другое, не то, что всегда. Что есть эта грудь?

Пунцовые щеки стыда чуть бледнеют, когда начинают — перед ужином — топить печь, а на городской плите, соединенной с газовым баллоном, появляется ужин. Дождь плавно стихает, но еще долго это не удастся понять, потому что с ветвей струится на стекла окон обильная влага и в воздухе реет полосами, подобными дождю, — она же. А книга лежит уже на веранде, в собрании других книг, мало чем отличная от них: только выше ростом, как и та, что писала ее.

Двоящееся акробатическое бытие встает со страниц, вечно ищущее себе дополнения с тех пор, как уже нашло его, и вот теперь живущее одним: длить полноту вечно, из пункта построить линию. Или уж, раз невозможна линия, избрать одну плоскость немоты, белую пустоту, зеро. Книга не дописана, и кончается чистыми листами. Как будто человек сдался. Но финал неизвестен, и до него трудно дойти. Страшно читать, и препятывание лишь отчасти имеет целью спасти книгу от взрослых, — так ведется и игра спасения то ли книги от себя, то ли себя от нее. Как растущая грудь, она дика, неудобна. И неотрывна. Снова достается из застекленного шкафа на веранде том, сверкает белая надпись *Debitoren*, по последним ржавым крошкам на которой можно догадаться, что когда-то она, возможно, была золотой. Теперь она вкладывается в вазу, стоящую на балконе, — к накопившимся там лепесткам садовых цветов, осям камыша и сухим коробочкам хмеля.

Хмель принесло с того берега, вечным восточным ветром надуло семена, как могло надуть ребенка, и вот нижняя терраса берега начинает увиваться богатым, загадочным растением. За грядой арбузов, хрена и еще какой-то ерунды — уступающая только воде преграда хмеля.

Хочется пойти к реке, но делать там нечего. Снасть брошена, да и холодно там, холодно от одной мысли о приближении к берегу, о нисходящих ступенях лестницы с яра — постройки

этого лета, без которой обходились все предыдущие. С балкона видно, как свинцова, пухлая, темноводна река, как устрашающ ее глубокий и многослойный, поросший кувшинками холод.

Но куда-то мучительно тянет, мучительно тянет из себя. Трудное смирение со своим телом, которое еще только начало — это чувствуется — жить, падает, как острое лезвие, режущее фотографическую бумагу под нужный формат. Но хватает его ненадолго, и главное — не бунт тянет куда-то. А что-то — непонятно что.

Ужин окончен, и смерклось, стоят темные навигационные сумерки, в них уже невозможно читать без света, но еще не видно раскинутого моря звезд. Радио: «Выращен неплохой урожай зерновых, особенно яровой пшеницы. Начался вывоз хлеба на элеваторы... пахут зябь... комедия „Мольера“ Тартюф... гастроли в сентябре, ТЮЗ... днем двадцать-двадцать три градуса тепла, ночью — восемь-четыренадцать...»

Безабажурная, так кажется издалека, лампочка освещает двор, начиная от крыльца, там стоит самое белое пятно света, но оно далеко и мелькает, только когда кто-то одновременно открывает двери на веранду и в сени. Туда уйти, а со двора — не на улицу, а — под крытым пространством служб — на свои любимые места, первые после рыбацких мостков; а сейчас — просто первые.

В саду на земле лежит плоский ромбовидный ящик без дна, на зиму в него убирают виноградные лозы и закрывают сверху деревянной крышкой, а потом уж и снег укрывает кладку до весны. А сейчас можно положить что-то на этот ящик и сесть, благо лозы раскинуты на длинные, полые «шведские стенки» — висящие в воздухе редкие гроздедержащие решетки. Лето было странным: холодное начало, суховейный июль, водоносный август, все не так, но вот гроздья нагрелись и налились, и подобно игрушечным ягодам урока рисования, висят абсолютно неподвижно в воздухе: спелые и красно-зеленые гроздья, черные и во тьме, блестящие только потому, что на каждой из них — капля воды.

Кажется, что и верхового ветра не было, но небо вновь разорвало, теперь — самый наносный и вредный его слой, дождевые груды, бывшие серыми на закате. Они посвежели, посветлели, утончились и разошлись, обнажив темно-синее, уходящее в самое себя небо. Луны нет, и непонятно, откуда этот серебристый свет, муарово идущий по все более тонко расслаивающимся облакам. Как вязь чужого алфавита, каллиграфические завитки того почерка, который уже знаком и легок, как свой собственный, стали они, но не остановились на этом: все дальше и шире расходятся они, как будто что-то где-то осталось недописанным, и они спешат туда, где нужна их ажурная словесность для любых сверхчеловеческих целей.

Мраморным садом кажется все там наверху, сине-беломраморным, подвижным, роящимся и живым. Нужно вернуться в дом — и невозможно. Нужно сделать вид, что ложишься спать, а потом снова как угодно прийти сюда, потому что с балкона видно лишь полнеба, а отсюда, из-под недвижных, мокрых гроздьев, — почти вся его освобождающаяся от плоскости сфера.

Все было плоским, как грудь, пока стояла в небе вода, и вот вода сошла, небо вновь разломилось и открылось, как грудь, но уже совсем другая. Такая, которая не вне тебя, а твоя, и ты смотришь во все отдаляющийся зрачок Полярной звезды, как сквозь свой сосок, и странно, он изливает путеводное млеко, Млечный Путь, галактику, где ты и живешь. По-прежнему, несмотря на все перемены погоды, тела и души, все еще в прежней, старой галактике, и вот он

восстал, ее бесподобный, всезнакомый рукав, похожий на рукав обломовского халата, только свежее, лучше.

Дома надеваешь свой фланелевый халат, потом снимаешь и его. Дом дышит, а ветер молчит — неощутимо ни для чего, кроме зрения, раздвигая здание видимого. В два часа ночи на небе, черном и избавившемся от его вечного античного мрамора, есть все собрание звезд. Рыбалка ведь только летнее увлечение, а зимнее — небо, Марс, дальний космос, и вот теперь зоркими глазами легко находишь себя и время суток: по небу, по тому, как стоят созвездия, ясно, что ты на пятьдесят пятой широте, а время идет к полуночи и за нее. В зените стоит Альфа Цфея; на месте, хотя и на другом, чем вечером, летнее трио звезд — Вега, Денеб и Альтаир; напоминают о близкой зиме высокие Большая и Малая Медведицы. На севере и низко у горизонта — только и можно увидеть с этого балкона во всей деревне — стоит созвездие Рыси, и видит его во всей деревне один человек, одаренный самым прекрасным, дальновидным зрением. Вот и сейчас начинаешь портить его, потому что — есть что и есть чем. Достоешь дневник из вазы и начинаешь.

Эти страницы размокли, и линии не так четки, но прочесть можно и в этой темноте, при свете звезд и собственного освещаемого компаса. Иногда зажигаешь фонарик с микроскопической лампочкой внутри алюминиевого цилиндра: парадоксально маленькой, немогущей лампочкой внутри тяжелой и прочной вещи. Фонарик работает считанные дни в году, потому что лампочку именно для него трудно купить, и она сгорает от жадного пользования за несколько вечеров. Лучше зажечь свечу, но ее быстро задувает: ветер все-таки спустился с высот вниз и сейчас стремительно сушит землю, сдувает первую влагу с листов, прибывает колосья к земле. После таких ночей пшеница — а клин есть недалеко — ложится на землю, перепутанная ветром, и чем гуще, тем труднее ее разобрать. Как юношеские волосы, прямые и блестящие, она густа в этом году, и вот буквально сейчас, в эту ночь, покорно ложится на землю, вызревшая до предела или просто насколько успела.

Темные провалы внутри Млечного Пути движутся на твоих глазах, и видишь эти темные прожилки в белоснежном, затемненном лишь ночью античном мраморе так ясно, как ясны Персей и Андромеда: он — чуть восточней, она — чуть южнее. Дом своей массой мешает увидеть Андромеду, но она там. К ней льнет движущийся Персей, и ты знаешь, что у неба есть национальность: небо — это грек. Высокая голубизна говорит о мире, в котором живешь с детства, как в книге «Храбрый Персей». Это твой мир, хотя название его пока непонятно. Космос — это на греческом, и что, что это значит?

«Он любит лежать на моих волосах, говорит, что они отталкивают — то есть поднимают его тело, пружинят. Что чувствует эти мелкие завитки, распрямленные длиной, как шкуру, или мех, или какое-то небывалое темно-золотое руно. „А ты Ясон?“ — я его спросила. Он думает, что да. Но я думаю, что он не Ясон, хотя это имя и очень идет к нему, по видимости. Мне кажется, он совсем другой. Неловко сказать, но скажу. Он — Индра, Зевс, только молодой. Бог-бык. Р. S. Сказала ему об этом вчера».

«Он действительно расстилавает волосы, разбирает мою прическу, а я снимаю с него часы и кладу на полку, на стол, и потом укладывается на мои „лохмы“, на одну сторону постели, как на одеяло. При свете свечи они горят действительно незнакомым мне животным блеском. Волосы ведь — вроде бы чистый белок (так мне доктор Расков сказал позавчера, плотноядно и скорбно глядя куда-то мне на виски). Медная проволока, и удивительно, нет седых. Могли бы давно быть. Должны были бы быть. Мыть их мученье здесь, но, к счастью, пачкаются они мало.

Я „Индре“ говорю, чтобы не пачкал их, не затирает своими боками, ребрами и даже задом. Расчесывала их сегодня, и странно, пахнут они не мной, а чем-то железным. Машинным маслом, что ли. Дошла. И как я люблю эту тонкую рельефную молодость, эти широкие, спортивные плечи, грудь, как у борца или у бегуна. Тонкие, тонкие руки, тонкая шея, такой сильный и такой хрупкий, хотя, когда он лежит на волосах, ни одного из-под него выдернуть невозможно. Только что он лежал на мне и был таким легким, неощутительно-легким, а сейчас вот упал на отдых рядом, и он несдвигим с места. Тяжелые руки, огромное тело, гармоническое, но устрашающее: Геракл, да и только. Индра. Закрыв глаза, лежит, и выражение сосредоточенное, а я смотрю на это слепое лицо с античного медальона и не могу ни поверить, что он рядом, ни перестать смотреть. Но когда он открывает глаза, наваждение проходит. Я перестаю его и бояться, и „благоговеть“ мгновенно, как только вижу этот взгляд. Он любит меня, уверена в этом. А мне становится его жаль, потому что вот в нем есть жизнь, то есть что-то слабое, а когда он просто лежит с закрытыми глазами, он кажется не то животным, не то богом, или тем и другим, но я восхищаюсь этим. Его красота кажется даже чрезмерной какой-то. Кто мог подумать. Кто. Когда...»

Лампочка гаснет, и ветер нагибает яблони в саду с каким-то личным, намеренным чувством, как живое — живых. Весь сад охвачен жизнью: высыхая, он гремит, трепещет, рвется, полстится, каплет, ползет, скрипит и покачивается, как виноградные гроздья, уже осушенные северо-западным дыханием. И небо — дышит, углубляется: сферичность его скоро станет еще ясней, когда на востоке тонко посветлеет. А пока — все черно, но это не тьма, а особый черный, сине-бархатный проницаемый свет, который и себя-то открывает как дыхание. А что дыхание? — пение. А что пение? — голос. Неразличимый голос все яснее и сливается с простым голосом другой синевы и тьмы: едва читаемым голосом другого человека, другой женщины.

Глубокий вздох и уход с балкона. Снять куртку, раздеться, лечь в постель. Двое также лежали в постели, она тоже была не широкой им, и сон наступает как второй, другой человек, которого пока невозможно ни найти, ни увидеть, только знать, что он — есть. Есть, есть.

В шуме ветра легко уснуть, слушая, как чернота ломает сучья, бьет лодку — где-то далеко, чужую о чужой берег, и по очертаниям единственного предмета — комода, понимая, что рассвет недалек. Просто он не нужен, пока второй — это сон, и нужно слиться с ним, хотя бы с ним, если найти другого невозможно.

* * *

«Они все-таки отняли дневник. Не те, так другие. Не с раскопа, так родители. Выследили и отняли. Хотя, может быть, и не следили. Просто увидели. И я не возвращаю ей эмблему. Не могу расстаться с ней. Ты больше не слышишь музыку, нет? Или слышишь? Ты все что-то молчишь. Сегодня, видишь, река встала. За ночь. Сейчас бы она уже не поймала ту рыбу, внутри которой нашла эмблему, а на следующий год, думаю, и вовсе не будет ловить ничего. Она приехала вчера — отпустили детей на каникулы. Придется мне отдать ей, если встречу на улице. Мудрено не встретить.

Река встает, а время ломается. Воробышку видела сегодня на льду — уже он воробьев держит, и тонкую россыпь ягод набросало на лед. Смотри, как темнеет еще вода подо льдом, черная глыба слюдяная лежит, горячая еще внутри, а верхи, ближние ко льду, уж остывают. Ночь, ночь года наступает.

Что сделала ее мать с дневником, не знаю, но вряд ли что-то хорошее. Я просила его у нее, когда она поинтересовалась у меня, кто такая М. В. Но она от разговора уклонилась. И я не сказала ей ничего.

М. В.

Это Мария Валентиновна. Ты все какую-то Анну трясешь, а она Мария. Мария. А Марьяной ее лишь один человек звал. «Марьяна» на санскрите — «колесничий», а «марья» — «юноша». Он ее то так, то так звал. Я про деда твоего говорю. Он ее младше на десять лет был, но имя ей переделать посмел. А деда твоего Андрианом звали, но он себя в Андрея переделал. Только имя не прильнуло к нему. Все меняли тогда имена, и сейчас меняют, точно от Бога прячутся. Он где-то гнев бережет, но я вот все жду — как прольется? Я вот все его гнева жду. Гнева.

А вот не знаешь ты, что слово русское «время» — того же корня, что и слово «верея», часть ворот, которая крутится полукругом. Оба от славянского корня «вертмя», а он — от санскрита, от древнеиндийского «вартмана», что значит «путь, колея, след». Вот след от колесницы в степи, от долгого колесного хода. Время дистанциями пути раньше мерили. А уж мы здесь додумались, что путь этот — круговой. А так ли это? Никто не знает. Линия ли время, круг ли, спираль — нам не отчитывается. А я за ним слежу, слежу и все жду, жду, что вдруг догадаюсь. Никто не знает даты Страшного Суда, заседания по существу, так сказать, но предварительные слушания почему-то идут все по кругу. Вот этот год смотри, как вознаградил меня за наблюдение. И еще чем порадует, пока кончится. Но никогда не знаешь, чей час пришел, кому расплата.

Александра Сергеевича, не Пушкина, а Грибоедова, убили в тысяча восемьсот двадцать девятом году, одиннадцатого февраля, сто пятьдесят лет назад. Помнишь, ты еще фильм о нем смотрел, «Северная радуга»? Разъяренная толпа тегеранская в русскую миссию ворвалась. Потом шах Ирана, Фетх-Али, Николаю I алмаз «Шах» преподнес — с повинным посольством своих родственников послал. На себя вину взял. Расписался в преступлении. И вот год кончается, и он ведь шаха унес. Не Фетх-Али, а Реза Пехлеви, но ведь шаха. Этот шах — другой династии. Фетх-Али был из тюрков, из Каджаров, а этот — перс, Пехлеви. Пусть. Ровно через сто пятьдесят лет, день в день.

Я как услышала радио двенадцатого февраля, что накануне, вечером одиннадцатого, в Иране монархия пала... сердце встало на мгновение.

Весь Тегеран, передали, охвачен восстанием, кругом баррикады, вооруженные силы объявили нейтралитет, в Тегеране танки, бои между повстанцами и шахской гвардией. Толпы пошли на штурм резиденции Бахтияра, это глава правительства был, шахского. Вечером тегеранское радио замолчало, пятнадцать тысяч зданий горели. Уличные бои в Ширазе. И я стояла возле своего приемника и слушала, как ты — музыку.

Он думал алмазом от праведной крови заслониться, откупиться от вины. Не вышло. Один ущерб от восстания что-то в одиннадцать миллиардов долларов оценили. Это даже не восемьдесят восемь каратов. Это больше. Но потери — ничто. А главное, что изгнан он, изгнан. Конец шаху. Конец. Через сто пятьдесят лет, день в день. Те же толпы его согнали, которым он не то попустил, не то помог разъяриться. Вот она, настоящая-то Ярость.

История — но ты никому это не говори нигде — это повествование для Господа. Он смотрит ее, как кино, но изредка клеит свои кадры. Всегда как бы неотложно, экстренно, в срок. Он время чувствует тонко, хоть и вечный. Что же: ведь оно — его изобретение.

Ничто не сравнится с временем. По одному нему познать можно мастера, Мастера Вселенной. Но не нашего, не нашего Господа. У нас здесь свои управы, свои уставы. Пока. И все что-то жду я, сжимаюсь в последние месяцы-недели, оттого что терпеж — терпение — не Его черта. Что бы ни говорили. Что где-то вскипает.

Или это самолеты все летят на юг и от их вибрации у меня сосуды трещат?

Сломалось время, людская череда.

Твой дед, кстати, временем интересовался. Раз он поезда водил, для него расписание было всем. Время — с него ничего другого и не спрашивали, кроме как подать состав вовремя. Как они говорили, «втянуться на станцию». Это ведь искусство. Скоростемеров на поездах тогда не было, механики скорость на глаз определяли: засекали время прохождения паровоза между двумя столбами, ведь столбы друг от друга через пятьдесят метров стоят, и умножали время на двадцать. Так узнавали, с какой скоростью идут — сколько километров в час. Поэтому у каждого машиниста были часы. На цепочке, в особом кармане брюк. Никогда он с ними не расставался.

Они с доктором Расковым на почве экспериментов со временем и спелись. Тот прочел в середине двадцатых специальную теорию относительности и решил провести эксперимент, который Эйнштейн только мысленно провел. Запало ему проверить, действительно ли время абсолютно, или оно разное «здесь» и «там», то есть зависит от точки наблюдения? От точки отсчета. От «лаборатории», как они выражались.

И вот в июне двадцать восьмого года дед твой повел ночью паровоз на Челябинск, а Расков сидел в чистом поле вон там, за рекой. Там у Раскова была «полевая лаборатория», а в паровозе — «поездная». Еще в депо дед твой укрепил две лампочки на штабном вагоне, одну на передней стенке, другую — на задней. Связал их одним проводом, чтобы одним тумблером из паровозной будки их одновременно включить, а в центре штабного вагона оборудовал наблюдательный пункт: стол и стул. Он один состав вел, без «помогалы» — так они на своем диком языке помощника механика звали. У него вообще-то помощник был свой, проверенный, не из депо навешанный. Но — без права вождения. Друг, Юра Чернов.

Тогда на железной дороге еще послереволюционная вольница была, вот он и придумал себе поездку до Юргамыша с пустым штабным. Но все же помощник для эксперимента ему нужен был — данные о подаче света записать. Сам-то он в момент, как свет зажжет, у реверса, у «плуга» должен был стоять и состав вести. Он ведь не порожняком шел, вез что-то. И бросить «плуг» не мог. «Плугом» они свое управление называли. Не мог он оторваться от вождения даже на полминуты. А свет он должен был зажечь в строго определенном месте — напротив того выгона, где Расков сидел. В середине вон той поймы. А знаешь, кто в штабном сидел за тем столом, на том стуле и световой сигнал ждал?

Я. Мне двенадцать лет было. Мы напротив поймы вырвались, круто повернули, я увидела в сумерках Раскова, как он белым платком махнул, и спустя какое-то мгновение — обе лампочки вспыхнули. Синхронно. Июньская ночь — светлая, и платок расковский, дореволюци-

онный, огромный, я как сейчас вижу. Все вижу. Я в журнале наблюдений записала: «Сигналы поступили одновременно».

А потом мы из Юргамыша с дедом твоим вместе плугатарили. Он так гнал, спешил к Раскову, результаты полевой лаборатории узнать, что я думала, свалимся где-нибудь. Еще их словечко: «свалиться» — это с рельсов сойти. Раньше это постоянно было: нашу, западную ветку Транссиба, Челябинск — Омск, за несколько месяцев положили в начале девяностых, еще при Александре Третьем. Гнали скорее к океану. Клади легкого типа рельсы, на песчаном балласте. Кривые, то есть изгибы пути, были крутыми, круче, чем сейчас. Куда! Профиль пути был тяжелый. Более удобный путь только в тридцатых положили. А в прошлом веке еще не могли. Гнали, гнали этот путь немыслимо. От Челябинска до нас за лето построили. Сейчас только лозунги за это время успеют написать. Но водить составы сейчас куда легче, и потому почета механикам больше нет того, что твоему деду был. И пути — не сравнить. И опасности нет той.

Он прибежал к Раскову утром уже, когда тот на приеме в горбольнице был. Расков сказал ему, что хотя, конечно, разницу в скорости прибытия светового сигнала он засечь не мог — свет ведь движется со скоростью триста тысяч километров в секунду, достаточно сказать, — но ему стало неопровержимо ясно, что свет от лампочки на задней стенке вагона не мог прийти к нему одновременно со светом от передней. В движении, в зримости это все было еще легче понять. Световые сигналы пришли к нему не одновременно. Один прибыл как бы с опозданием, как второй близнец при родах. Так он выразился. Он ведь и роды принимал. По молодости. В деревнях, еще в России. Он ведь тоже к нам по Транссибу откуда-то из Самарской губернии приехал. Мы ведь себя Россией не считали еще тогда. Никак не могли привыкнуть.

Это так их взволновало. Дед ведь твой побежал туда со мной: я была нужна им как экспериментатор. Мог бы отпустить меня домой спать и только тетрадку с записью моей взять. По моим-то данным выходило, что свет прибыл синхронно. А у меня просто другая, движущаяся лаборатория была. Но я тоже не отставала. Наука всех нас гнала вперед, мы все хотели знать. Так и помню сейчас набитый приемный покой, и дед твой только умыться успел от паровозной гари да рубашку сменить. Он — в путевском мундире, я — в платье, стоим, потом нас фельдшер заводит в кабинет, и Александр Владимирович вышел к нам из-за ширмы.

Я слова Раскова запомнила:

— Он прав. Промежуток времени между событиями, которые происходят «здесь у нас» и измерены в нашей собственной системе отсчета, всегда короче, чем промежуток времени между теми же событиями, но измеренный «там у них». Наше собственное время — всегда динамичнее.

Они говорили, как я сейчас понимаю, о двух лабораториях, двух системах отсчета: движущейся и неподвижной. И для первой время всегда «короче», чем для второй. Для тех, кто в движении, время идет быстрее. А главное, оно идет для всех неодинаково.

Но я тогда все иначе понимала: «здесь» и «там» имели тогда значения совершенно определенные. Здесь — это у нас, в Советах, а там — это в любом другом месте. И мы были движущейся системой, рвались к мировой революции, я ведь из первых пионеров, ты знаешь, и у нас было «Время, вперед!» А у них было просто какое-то время. Английская газета «Таймс», «Времена», ну и времена. Ультиматумы лорда Керзона, и больше ничего.

И у них дух захватывало почему-то тоже от этой относительности времени! День был пасмурный, халат на Раскове расстегнутый, белоснежный, борода черная, и они оба смотрят в расковскую тетрадь, в мою тетрадь. И я рядом стою.

С той поры я интересуюсь временем особо. И вижу, что у нас время больше не «вперед». Мы больше не движущаяся система отсчета. Мы куда-то идем, но идем не туда. Мы встали. Но ведь по теории Эйнштейна, время у любых «нас», необязательно лишь у революционных, идет быстрее просто потому, что это — «мы», и мы измеряем время событий, происходящих в нашей «лаборатории», своими же часами, сами. Это — наше собственное время. И тем же своим временем мы мерим события другого, чужой «лаборатории», и получается чепуха. Нам кажется, что время у них «тянется», а это иллюзия, и возникает она просто потому, что мы не можем, не можем мерить их жизнь своим собственным временем. Это только говорят, что чужие дети быстро растут, — на самом деле всем кажется, что только его собственное бытие и динамично, и насыщено, а чужая жизнь — едва, хромая кляча, тащится, почти без цели, без движения. Это естественный ход мысли, а все, что не так, то — зависть. Вот мы сейчас одержимы завистью и немощью. Так замедлились, занежились, в смысле нежилые какие-то стали, что уже все вокруг нас несется, а мы едва владеем собой. Все яркое вокруг, современное, а у нас одни серые железные банки тушенки. И зеленого горошка.

Мы так рвались вперед. А теперь нас как будто охлестнуло чем. И ничто не поможет, ничто. В банки из-под зеленого горошка весной тесто разложу пасхальное, и оно поднимется. Меня спросили: как, партбилет мне не мешает Пасху праздновать? Нет, не мешает.

Старые билеты, ВКП (б) на КПСС меняли, и я сменила. Этот мне и тем более не мешает.

«Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Но эпоха уже не наша, потеряли мы свое собственное время, и скоро нашей «лаборатории», поездной лаборатории на пути к коммунизму, крутая кривая будет. Ох, крутая. Не свалиться бы. Или это и идет Гнев?

Где-то разошлись мы, разошлись с главным временем. И куда мы идем?

Или это к нам идет Гнев? Как к шаху. Только уж не за тысячу восемьсот двадцать девятый год, а за тысячу девятьсот двадцать девятый. Я в это верю.

А я стою, помню, с твоим дедом и с Расковым в старом здании горбольницы, мы там с тобой были, — и слушаю их. И мир мне открывается. Подумать только: наше время — самое быстрое. Я — так понимаю их. А я всегда так думала. Мы про Город Солнца тогда слушали, прекрасный город-лабиринт на холме, а потом с горнами, барабанами по главной улице, она тогда улицей Свободы называлась, шли. Нас всего двенадцать пионеров на весь город было, да вожатая из Киева, Уманская. Она про Город Солнца нам рассказала. И наш город ведь стоит на яру, можно сказать, что на холме, и солнечных дней у нас достаточно, почти как в Грузии, но в остальном — тьма. Все сжалось в точку. Тьма, дождь, зима. Застывание реки. Завтра седьмое ноября, но звучит как похороны. Девятый день по революции. Вселенская кутя.

Завтра все дома будут, раз каникулы, и я пойду к матери рыбачки. Рыбачке отдам эмблему, — раз обещала, надо исполнить, а матери задам вопрос в лоб. «Где дневник?» — спрошу. Скажу: «Отдайте».

Этот дневник, я понимаю, — Марии Валентиновны Арсеньевой, певицы Ленинградской филармонии, приехавшей сюда в двадцать седьмом году, как она говорила — лечить горло кумысом, а как я понимаю, скрыться от ленинградских «чисток». Она была прозорливая, большого ума, и могла все предвидеть, чем в Ленинграде дело кончится. Чистками и ссылками. Она сослала себя сюда заранее. Упредила. Но ненадолго.

Там, в дневнике ее, если это действительно он, есть и о деде твоём, а может быть, и о Раскове слово. Пока она жила в городе, она жила неподалеку от Раскова. И оба они ее любили, но она — только одного. И пока они время мерили, еще не знали — чья возьмет. А она вскоре выбрала. Быстрое время. Движущуюся систему отсчета. И вот — никого нет.

С ними у нас еще была надежда, на Город Солнца, на красоту. А теперь — только осколки, только вещи. Эмблема, дневник; ты вот город строишь.

Ты ведь Город Солнца строишь? Нет? Город прошлого? Наш город? Теперь Город Солнца и есть — город прошлого. Синташта, только нераскопанная».

* * *

«А я город построил. Сначала нарисовал, а потом из белой бумаги склеил. А кое-где — из красной бархатной, Ямуна из гороно мне принесла. Она мои занятия поощряет, хотя и грустно ей, грустно, а почему иначе быть должно? Умрет она, меня в интернат определят и там с престарелыми заколют. Ножом заколют, я раньше думал, а потом понял, что уколами. Это потоньше будет, но все равно гибель. А куда меня еще, говорят, никто с ним, кроме вас, не справляется. «Но ведь он, — Ямуна им, я знаю, — школу почти закончил и при условии отдельного жилья, а оно у него есть, сможет трудиться хотя бы гардеробщиком». Н-да. «У него, — она продолжает, — трудовые навыки развиты», а сама меня ничему не научила, мне так говорит. Только на людей не бросаться, но это теперь мало что стоит, по ее понятиям, или по их, я не знаю. Но когда-то это еще будет, что умрет она, впрочем, вот недавно, на дубах, чуть не умерла, на месте нашем под деревьями, худо ей в конце осени стало, дурно, а потом прошло. А я вокруг нее бегал и кричал: «Не умирай, не умирай». А она мне: «Всё, умираю». Я сразу понял, что серьезно, потому что, когда про будущее, она всегда говорит: «Подохну». Ни про кого так не говорит, а про себя — всегда так. «Вот подохну, и останешься ты». Это невыносимая музыка, даже не додекафония, не атональная тем более, а сплошной звук немоты. Открытый рот, а ничего нет. Рыдание стоячее. И я понял тогда, что надо город построить, пока она есть, скорее построить, а то потом я уже не построю его никогда, не дадут мне музыку дослушать, а что и дослушал, то запачкают и на куски порвут и в ведро спустят. Пучина ждет меня, потому надо клеить скорее. И расспросить ее — не чтобы клеить лучше, а чтобы она, как я стала, вровень мне, и так дольше жила. Она когда свою пионерскую жизнь вспоминает, становится как Наташка, и даже моложе. Как рыбацка.

Я за зиму рыбацку всего один раз видал. По ней не скажешь, что ей тринадцать, рослая детина, и тащит свой рыбацкий зимний ящик на лед под яром. Очуметь, по ней не знаю, что сказать. Вот ее бы в гардеробщики, шубы таскать. Сядет на ящик посреди реки на лед — и утром в рань рассветную все мне сбивает, скрежетом своим: сверлом сверлит лед больше чем на метр, звук в мороз скрипучий, яростный, звенит, поди, до линии, до города. Я в городе редко бываю, только пенсию получить. Ямунину и мою детскую, тогда я по улицам ее тяну, чтобы лучше всё смотреть. А так мы всё в снегах. Последние деревья спилили, одни дубовые пни стоят, или липовые — уж и не знаю. Теперь у нас, как на космодроме, — чисто все до

горизонта. Двадцать домов к реке жмутся, да и то половина не вдоль реки. Небо чистое, голубое, и скрежет ее по льду яростный, а больше ничего. А когда весна пришла, и она на каникулы приехала, то уж звук другой пошел, другой. Она в конце марта последний раз рыбачила, уже вода из-под льда выступала, а она по черной водянистой тропке со своей пешней тащится. И видно — рвется, как из школы, из города, до реки дорвалась. Ямуна говорит: «Как ее мать пускает?» А что сделаешь. Мы все можем, потому что мы дети. Я Ямуну куда надо тащу, а она-то, поди, рыбачка, свою мать и не видит, не спрашивается. Весной звук рыхлый, волглый шел, я даже один раз разволновался — не провалилась бы. Я воды боюсь, я ее не спасу никак. И воздух вокруг — влажный, снега свежего набросало сырого на ветки, и снова все, как в ноябре, кинулись ветки от снега очищать, чтобы в августе с яблоками быть. Но я их яблок не ем, я однажды раскусил и червяка увидел выходящего, и всё, больше на яблоки не лущусь. У рыбачки щеки, как яблоки, а волосы за зиму посекулись, из-под шапки снопом торчат, челка сечеными концами смотрит.

Ямуна ей эмблему, топор и якорь, еще на октябрьскую отдала: чего она еще ловит, что поймать хочет? Дивит деревню, даром что в «Артек» ездила. Я ее потом еще ждал на повороте, а она уже больше после того дня не пришла, река совсем в воде утопать начала, лед рыжим от камыша стал, и никакой льдистой слюды, никакой черноты, одна каша. А чего? Ямуна говорит, если и вода снаружи, под ней еще долго стужа, камень ледяной, а уж под ним только — живь, и щуки ходят. Я так думаю, что она по льду к тальникам подбирается ближе-ближе, раз уж летом на ту сторону не плавает, — по льду дойти хочет. Они зимой голые, проветренные стоят, да и сейчас еще — сквозит в них, далеко насквозь видать, хоть и закрываются уже, зарастают кудрями-листьями. Она уедет, и я уеду, а куда уедем, не знаю. Знаю лишь, что в разные стороны, хоть и посекулись волосы у нее, и глаза черными стали, а может, и раньше были, да я не видал.

Эмблему ей Ямуна дала, ложку взяла, а про дневник молчок. Нет его больше, сказала. И всё.

Жгут траву, в воздухе марево некое, и как будто Ямуна куличики печет: светом пахнет. Амарантом, шоколадом, — это на украшение.

Я люблю, когда воскресают, я фильм «Овод» люблю поэтому. Как Артур воскрес. Я бы хотел, чтобы меня звали Артуром, но так почему-то одного татарина в моей школе старой звали, а меня нет. Меня: «Как ныне сбирается вещий Олег». Я не вещий, но я город построил. Прошлым летом нарисовал, а за зиму эту склеил. Он на веранде у нас, на столе стоит.

Вот: въезд в город — старый Ялуторовский тракт, мне Ямуна сказала. От востока к нам дорога вела, хоть вообще-то Тобольск на севере, а Ялуторовский тракт — самая главная губернская дорога к нам. Справа от него — дома справные, самые каменные. Там винокурня, спиртовой завод, иностранные монополии до революции сидели, торговлю всякую вели. Там эти дома до сих пор целы, каменные, по нитке выстроены в один ряд. Слева от улицы — река и дома похуже, потом — базар, ряды торговые, задами они к реке сваливаются, и там всякий отброс и хлам. Чуть подальше от базара — город и есть. Слева — церковь Троицкая, ее, говорят, недавно свалили, я ее красным бархатом выстроил для красоты, хотя она белая была. А дальше, на холме самом высоченном, где сейчас деревообрабатывающих станков завод, ЗДС, — Богородице-Рождественская церковь, кафедральный собор то есть. О нем и слуху нет — Ямуна только мне сказала. Его в начале тридцатых закрыли, а потом уж из Винницы в эвакуацию завод приехал и доломал. Огромный собор был, круглый, в ампир сибирский строенный, с колоннами по всему кругу. Она мне секретную фотку показала, открытку от старых

времен в комоды хранит. Для истории, сказала. В ЗДС только одна стена уцелела — от придела Михаила Архангела. Он в алом, с мечом. Он — на улице Свободы. Ялуторовский тракт ведь переходит в улицу Свободы. Она и была главная после революции.

Ближе от нее к реке — Береговая улица, справа, дальше от реки, — Советская. Вот наши главные каменные три улицы, они и сейчас такие, мне легко клеить было, рисовать еще легче: особнячки двухэтажные, то каменные, то купеческие, то есть лавки: низ каменный, там торгуют и товар держат, а верх деревянный, там сами живут. Выше второго этажа — нет. Ну есть иногда, но обычно нет. И клеить легче. А то бы я небоскребы за зиму не склеил ни за что. Три улицы идут строго с востока на запад, ну немножко не строго, то есть совсем даже напополам: с северо-востока на юго-запад. Иначе построиться река не велела. Зато в другом всем строгость соблюли, мы ведь после Петра строились, все сибирские города по Петербургу ваяны: параллельность, перпендикулярность, углы девяносто градусов, перспектива незамутненная. С юга на север, с запада на восток. Я в Аравию хочу, потому что у меня и окно на юго-запад. «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела», а мне и так ветки всё говорят. Мне всё-всё говорит, я только записать ничего не могу, и не пытаюсь, так, пробовал, а ничего не вышло. У меня никогда ничего не выходит, только город — вот он.

Эти три улицы — Береговая, Свободы, Советская — высоко стоят. Богатые, дворянские улицы, купеческие то есть, у нас в Сибири, Ямуна сказала, поместных дворян и не было, и чиновников мало, а земля вольная, некрепостная, откуда им тут быть. А ниже — отвал сразу, всё под уклон, там уж мещанство всякое жило всегда, деревянные усадьбы, да редко замок тюремный или горбольница, или казармы солдатские. Но все же параллельно трем главным, и все ниже, и все к северу ближе, улицы у меня: Всевобуча, то есть всеобщего воинского обучения, а раньше, до революции, она и так Солдатской звалась. Потом — Карла Маркса, потом — Урицкого, они и сейчас такие, а раньше которая-то из них Кладбищенской была, потому что там вместо горсада кладбище было, и сейчас памятник Гражданской войне стоит, женщина с раненым бойцом и еще что-то. Потом — улицы Гоголевская и Пушкинская, там уж совсем низина, там сейчас площадь наша, памятник Ленину, обком и облисполком, и комсомолы.

Мне Ленин в эту весну мешает, мешал город слушать, всю весну по радио «Аппассионату» играли, а она ведь мне противопоказана. Она — в фа-миноре, а моя тема — фа-диез минор, разница вроде несильная, но это-то с ума и сводит. Нестыковка, гадость. Сбивала меня. Я радио выключу, так легче станет, а громкоговорителя на улице нет у нас, но либо Ямуна включит по новой, либо еще откуда-нибудь сочтется, как из подпола. Я зимой в подпол падал, лестница проломилась, и два часа один там сидел и мышей слушал. Тогда и отдохнул, город в уме достроил. Там хорошо, светло было, тени всякие по стенам ползают: на кухне-то света — захлебнуться можно, от контраста с голбчиком помрачаешься. А я не помрачился, и даже не ударился, Ямуна пришла: «Сеня, Сеня». А я говорю: «Я Артур, я здесь». Она знает, что я про отца, про Монтанелли хочу узнать, да помалкивает. А я иногда такие заявки делаю. Сижу во тьме и объявляюсь. У меня много причуд, я штук много знаю, особенно когда что-то делаю.

А дальше за Пушкинской — городу конец, и улица — Вокзальная. Сейчас она — Коли Мяготина, это пионера-героя то есть. Он у кулаков хлеб арестовал, а они его убили. Последняя настоящая городская улица, по ней граница города раньше проходила. Так мне Ямуна сказала. Все, что дальше и ниже этих девяти улиц, уже считалось не город вовсе, а прижелезнодорожный поселок Курган. И вот Телеграфный переулок — он поселок надвое делил. А железная дорога — тоже улица. Параллельно всем улицам, с юго-запада на северо-восток, Транссиб ведь к нам с юго-запада, от Челябинска, от Златоуста, от Самары протянули. Вдоль степи то есть.

А некоторые хотели — по лесам, от Перми к Тобольску, как Сусанины, переть. Но там — ни хлеба, ни торговли, один бирюк по лесу ходит, ягоды собирает. Там — ледник, а здесь — пшеница, здесь — стада, здесь пионера и то — есть за что убить и героем сделать.

А вокруг вокзала железнодорожники в своих домишках жили, потому что им на работу близко, и улиц там не было. Так, самозванные какие-то: 1-я Степная, 2-я Степная, — потому что пусто там, голо. 1-я Водопроводная, 2-я Водопроводная, потому что паровозам вода нужнее угля была, откуда пар-то иначе возьмется составы двигать? Потому у Вокзальной раньше два озера было, они потом болотами стали. Там сейчас железнодорожная больница детская, меня туда Ямуна раз водила. Я сильно хотел настоящей воды налить, а как, не решил пока, синей краски налил. А по-хорошему, все улицы, кроме первых трех на яру, надо было зеленой краской залить, и стройки бы мне меньше было. Потому что все в акациях было, земли и домов не видно. Акация — декабристский, масонский знак, заговорщицкий, у нас здесь декабристы жили, они и оставили, до будущих времен. Другим ссыльным в утешение. А она и расцвела на весь город, на то она — бессмертия эмблема и возрождения символ.

А я про переулки не сказал. Они — перпендикулярно улицам стоят, все одинаково, все под прямым углом. С юга, от реки, на север, на вокзал тянутся. Их — тоже девять, как улиц. Переулки тоже улицами назвали, но куда! По ним и видно, что переулки бывшие: узкие они, даром что длинные. От востока начиная: Заводская, Пролетарская, улица Троцкого, сейчас Пичугина, потом — Троицкий переулок, а сейчас Ленина, потом — Рабочая, а сейчас Комсомольская это, потом — Бакиновская, потом — Красноармейская, потом — Крестьянская, Казарменный переулок бывший. А потом уж — самый западный Телеграфный переулок, нынче это Красина улица, и за нею — где обрыв к реке, а где так, отъезды в пригороды. Из города мы так и ездим, через Западный поселок. У нас все поселки пригородные безымянные: просто Западный, просто Северный и Восточный, только Южного нет, потому что сразу за Береговой — обрыв, река и дачи. И еще дорожка велосипедная, но я на велосипеде ездить не умею, координации нет. И ипподром там же, на юге, а вот на лошади я бы смог. Я бы ее чистил, а она меня — возила. И еще с цыганами бы ушел, как Ямуна в детстве хотела уйти, с таборными настоящими, а не с теми, что на вокзале бьются. Переулки-то вплоть до вокзала тянутся, а улиц там больше и нет. Там раньше болота, озера были, да домишки железнодорожников. А сейчас панельных домов наставили, а болота засыпали. И на них дома стоят, я бы так, например, не смог жить, я бы каждую ночь боялся провалиться, как в подпол, только хуже. Уж без света без всякого. Место ведь помнит, чем оно было, и себя длит, длит. А люди все свое на него валят, как цемент на болото, а оно, хоть не бездонное, все же квакает на них, пузырится, и жизнь у них, я уверен, я — вещий, такая и выходит: квак-квак, пузыри. А за лентой, за линией железнодорожной, — самое интересное. Меня туда так и тянет, тянет, там просто до-минор сгущается до невозможности, как мазутом им изо всех щелей прет. Я там Андриана чую, Андрея то есть, деда своего. Зачем он Павлом из Андрея стал, не понимаю ничего, и так у нас у всех по два имени. Как бы дом и болото. И оба на одном месте, на одном человеке, да все равно старое имя выкажет себя. И никакой я не вещий Олег, я Сеня, Сенечка, Арсений потому что, и в честь, видать, этой Арсеньевой, певицы то есть. М. В. Иначе никак ее Ямуна почтить не могла, а потом чего-то отчаялась. А я — нет. Нет. Я и ее слышу. Ее совсем близко от дома слышу, там, где в городе живем, за пенсией приезжаю. На берегу, на Береговой улице слышно, а еще на улице Свободы. В том квадрате. У нас не заблудишься, у нас все кварталами, а девять улиц умножить на девять переулков — это получается восемьдесят один квартал. Так у меня и вышло. Только мне не нравилось, хотелось все ровно — чтобы девяносто их было, и я десятой улицей реку сделал. А что? Тогда по Тоболу и пароходы, поди, ходили. Один пароход назывался «Благодать», еще до революции из Тюмени пришел, я даже не понимаю как. Сей-

час все заросло в реке, зарастает, слишком медленно она течет, но ведь все равно — улица. Двигается куда-то. На лодках, бывает, катаются по ней и сейчас. Ширины хватит, глуби нет. А тогда, поди, и глубь была не та, ни эта, и текла эта улица с запада на восток, навстречу солнцу. Только у самой реки уж никаких кварталов не было, а так, скаты песчаные.

Но я и их нарисовал, там люди на пляж, я чувствую, вещь, шли повдоль огородов. У нас у всякой реки — огороды уступами, и здесь так, и в городе, где могут, мостятся до сих пор. Эх, деревня! Только шиканули построиться с портиками, как Петербург, ровно-ровно, четко-четко, а душа все рвется в глубь, когда не в небо. Здесь у нас неба совсем много, одни размывы облаков по голубизне, и тишина настала, отметили столетие вождя великой пролетарской революции, отметили противным мне фа-минором и смолкли. И Первым концертом Чайковского перестали мне нервы рвать, тоже мне, Ван Клиберна, хватит. Своим си-бемоль минором надоели мне. Почему-то как революция, так минор. Только «Интернационал» — в мажоре, и я его, от противного, люблю, — «вставай», «вставай», одно первое слово уже нравится, я бы хотел играть на скрипке, играть «Интернационал», меня бы тогда так же, как больного художника, с крыши облизполкома сбросили — за то, что он флаг на землю то ли скинуть хотел, то ли скинул. Или сам он упал, от страха, что за ним по крыше погнались. Сорвался. Скинул вроде, там такой красный с синеньким, флаг РСФСР висит. Снова повесили. В самой низине, но зато с портиком дом. У нас всё, даже почта в античном стиле.

А я в школе пока учился, французский учил, и мы там песни пели. Про маленький ручей, «ле пти руисо», про сороку, «ла пи», про лодочку, «ле пти бато». А потом учительница сменилась, и другая, старая, пришла и говорит:

— Давайте, мез анфан, выучим настоящий «Интернационал».

Настоящий «Интернационал» — это французский. И начали мы петь. Его ведь французы написали в годы Парижской коммуны, когда был настоящий коммунизм, а не такой, который наступит в этом, восьмидесятом году. Вот уже апрель, а он все не наступает. А тогда мы запели все, я громче всех, когда выучил:

— Дебю, ле данне дё ла те-ерре...

«Вставайте, проклятые земли», — я это обожаю, проклятые земли, я это понял. Зато не какие-то «проклятьем заклеянные», какая чушь, кто их заклеил, кто посмел бы. А — проклятые земли, несчастные земли или даже просто — Земли, планеты. И никакого «нашего разума возмущенного» там нет, я знаю, а есть просто «ла резон», резон в черепушке, и он грохочет, а не кипит, кипящий разум, да еще и «наш» — это дурь. Ум — в отдельном «кратёре», черепной коробке, негодует, а не в общей котле наружу рвется. И про смертный бой там ни слова нет. Это мажорная песня, я знаю, это про взрыв, который наконец-то совершается, и совсем ведь не мозги на части рвутся, а люди — в восстание. Это парижская песня, коммунистическая. Коммунизм без Парижа, по-моему, невозможен, и не будет у нас ничего и в этом году. Я так предвижу.

А я не понимаю другого. Как Павел и Марьяна, раз уж дед мой дал себе и ей такие имена, нашлись? Они ведь совсем в разных квадратах города голоса свои, волны свои оставили. Он — к дороге ближе, где-то там, а она — ближе к реке. Река с «железкой» вот здесь недалеко, под деревней, пересекаются, хоть моста и не видно отсюда. А я их голосов здесь не слышу. Я здесь один гул слышу, такое рокотание, и то не всегда, и тональность определить не могу,

а больше всё — тишина. Даже себя не слышно, только иногда дыхание. И как рыбачка снег железом разрывает, очередную сказочную рыбу достать тщится, тоже что-то разгадывает, поди. А я их, Андрея и Марию, издалека слышу, волнами, и так они сплетаются, на миги, мелодии их, а потом снова разрываются, и вот за миг — на километры разносит. Даже не слышно им, поди, друг друга. Они, ясно, уже давно умерли, мне ясно, а кто волну подберет? О чем они? А они — друг друга слышат? Они — кому поют? Они ведь певцы были, я понял.

А я — не проклятый земли, пусть и незаконнорожденный. Я ведь не зря город строю, разгадываю. Я когда построил его, тогда и понял, что так мне и отца найти, может, удастся. Я все до конца дослушаю, и отца разочту-расчислю, тональность его построю, и тогда уже мне найти его — раз плюнуть, пара пустяков. Но он тонально не рождается, он в глубине лежит. Вот уж он-то, кажется, проклятый земли, или нет, или это просто такая большая тайна, что ее, кроме как провалившись во что-то, не расследуешь, не узнаешь.

Таборные цыгане повсюду ездят, но истину кочевьем не возьмешь, и я не пойду с ними. И по железке от судьбы не побегу. Живет Ямуна — и я при ней. Я только слушать и петь, и строить буду, а уж она мне поможет. Кто и выведет к отцу, как не мать. У Овода мать умерла, и то он правду от нее узнал, в покаянном письме хранилась, и я, пока Ямуна жива, все узнаю. И даже если умрет, я все узнаю, где бы ни был, только бы в дурака не превратили. Мне только бы самому жить да помнить, что Сеня я, Сеня, а уж проклятых земли я сам сыщу».

* * *

Сознание почему-то не отключается, не хочет, и сон не приходит. Под закрытыми веками плещется бескрайнее, уходящее в синь леса, бликующее озеро, — там стоит двойная вселенная света: из неба и воды, одинаково озаренных полуденным солнцем. Тело все еще не верит, что оно — на суше, на тверди, оно все еще живет испытанной качкой, в лодке на воде, а главное, под ногами — все еще пружинные, ненадежные и все-таки прочные острова, желто-зеленые плавучие лабзы, построенные из камыша, водорослей, мха, ила, земли. Все еще видишь свои ноги в болотных, под пах, сапогах — выдавливающие из-под этого зыбучего ковра воду, крадущиеся, — и восторг, подобный ослеплению, заливают все тело, от ног — вверх. Не уснуть. Шею заливают жар, запах раскаленной высокой травы и пресной воды — кажется — журчит по лицу вместе с потом. В постели почему-то находится песок, несколько песчинок катаются, как ни сметаи, то там, то здесь, хотя никак не мог он здесь быть, он давно смыт, — но вот он, вот. На месте подушки лежит окно в раскаленный, белый озерный мир высоченных растений, поглощающей воды, внезапных криков озерных птиц. Никогда, никогда больше не быть такому счастью, это было в первый и последний раз. Далекая поездка на озеро, в опасный поход, вместе с соседом Циклопом и его отцом.

Циклопа зовут Хохленком, а его отца — Хохлом, у них есть настоящие имена, но имена эти ненастоящие, а подлинные — те, что первыми всем вспархивают на язык. Циклопу двадцать лет, эта его кличка — новая, потому что после армии у него один глаз — не свой. Он разрабатывает свой новый стеклянный глаз, ходя вокруг того, с кем говорит, стараясь поворачивать свой голубой, аквамариновый протез. Параллельно с этим он крутит резиновое культистское кольцо в пальцах, разрабатывает руки. Руки тоже попали в переплет, и вот он сейчас их расплетает, хотя — может быть, просто копит силу, ловкость накачивает. Отец — Хохол — водит тяжелый грузовик, и Хохленок также бы водил, а сейчас нужно что-то снова придумать. Но пока ничего не придумалось, а школа уже кончилась у всех, — озеро.

Дорога лежит на север, и Хохленок все мелет свое кольцо в руках, молчит и даже не смотрит за окно. Он побывал в горах и теперь пока думает только о них, даже когда не выспался, похоже, а за окном все одно: гривастая равнина, мелкохолмистая синь, зябкая послерассветная серая даль. В постели становится холодно при этом воспоминании пути вперед, зябкая дрожь дороги доходит — и уходит, и снова, обвалом, врываются зной, ветер, зелень, синь, свет. Блеск, блеск, блеск. Неразличимые голоса, молодой и немолодой, чавкающие по лабзе сапоги, удилище с успокоенной лесой, все так отчетливо, как ничто никогда, никогда.

Прославленные черноозерские сазаны, судаки и белые амуры не берут, и долгий дрейф начинается от лабзы к лабзе. В прошлом году тут запутался и провалился в начале лета рыбак, и каждый подъем мха под ногой сопровождается падением сердца, и вот ты падаешь, падаешь, вместе с постелью, — удар!

От удара последнее забытье, качка предсна исчезает. Пенал постели ощущается как лодка, только неподвижная, уткнувшаяся в песок на закате и так никуда и не тронувшаяся.

Хохленок закидывает удочку, распутав лесу своими перепутанными руками, с которых не так давно сняли гипс. Так он говорит. Единственным живым глазом смотрит в глаза, проверяя, страшно ли тебе. Улыбается, подбадривая. Страшно. Но это-то и хорошо. Хорошо даже сейчас, когда все еще чувствами идешь по бликующей воде, выдавливаешь сияние из соломенной путаницы стеблей, корневых сплетений, построившихся над хлябью, бездонностью.

Называешь Циклопа по его школьному имени, он ведь недавно тоже учился в школе. И говоришь — оглянувшись и уверившись, что Хохол не стоит где-то здесь за стеной камыша:

— Летом мне уже будет четырнадцать, тогда поздно за это дело братья.

Циклоп думает, разминая резиновый спасательный кружок. Виден его профиль с левым, слепым глазом.

— Такое решение? А если там ничего нет? А если поймают? И все зря.

Тебе возвращается собственная мысль. Додумать ее никогда не удастся. Вот и сейчас приходит Хохол и говорит, что надо переехать на новую лабзу, самую большую.

На чистой воде между островами вдалеке сидят, едва касаясь отраженного мелкооблачного неба, бело-серые существа, сложившие на отдых гнутые шеи и желтые клювы. Затылки их огромных голов опущены, как модные стрижки рок-звезд, как твоя собственная, полубритая с весны голова.

— Кто это?

— Бабы.

Молчание.

— Кто-кто?

— Бабы-птицы.

Хохол серьезен, почти не смотрит на них. Он смотрит вдаль, высматривая пристань, ища место своих предыдущих побывок. Лодка идет тихо. Хохленок неслышно, почти не роняя капель, гребет, гладко, без усилия, без скрипа уключины, без визга, о котором приходится читать в стихах.

В качании птиц, в их черных опахалах, опушках крыльев — размах их оказывается огромен, когда, услышав приближение лодки, они срываются (кто легко, кто грузно, тяжело таща полный рыбы клюв) и набирают высоту, — есть другая строка стиха, которая вынимается целиком в любое время дня и ночи: о «траурных перьях», качающихся в мозгу. Птицы сидят в полном молчании, и только одна — или один — устало выискивает что-то в воде, почти потерянно глядя в глубь одним глазом.

— Я таких на границе видал. С Ираном.

Циклоп шуруется на поднявшихся птиц, разворачивая лодку.

Это пеликаны. Когда они сорвались и развернули шеи, они стали узнаваемы, на миг, а сейчас, когда они, исчезая, парят, их снова невозможно узнать. Ветер ерошит их коротко стриженные челки и затылки.

Лодка тыкается носом в очередную лабзу.

— Не выходи. Здесь из лодки поудим. Тут лабза опасная. Тут у этих птиц гнезда. Не выходи, не слышишь, что ли?

Родители не знают ни о чем, об этой поездке. Сегодня воскресенье, их и нет, они приедут только под вечер, с городскими гостинцами. Шербетом и прочим.

Машешь рукой и идешь. Хохол бросает удочку и идет следом: ловить, если провалишься в эту зыбь. Мох, мох, мох.

Гнезда пеликанов огромны, высоки. Такими они кажутся и сейчас, из крепости узкой постели, из тьмы. Солнце играет на них, белоснежно-гипсовых, шероховатых, неровных, расклеванных до пустоты.

— Это не мы, это, поди, вчера кто поднял их с кладки, а другие птицы сразу кинулись. Да ты не горюй, их каждый год гибнет до лешего. Такая у них орлянка с потомством. Пугливая птица, быстро бросает гнездо, от любого шума. А смотри сколько рыбаков прет, да рыбохрана следом на катере. Им нет тут покоя, а они всё летят сюда, каждую весну. Вишь, Мишка говорит, у них зимовка в Афгане.

Крошка желтка торчит на краю раскуроченного яйца, как крошка старой позолоты на книжке Debitoren.

Циклоп с утробным плеском вырвал серебристого сазана из натянутой поверхности воды, поборол водную массу засиявшей на солнце лесой. Рыба бьется на воздухе, а ветер колышет верхушки травы.

— Пойдем. Ничем уж не поможешь.

Брошенное гнездовье сияет расколотой белизной в глаза, хочется ослепнуть, как Циклоп от разрыва гранаты. Молчание. Потерянные птицы улетели, не могли не улететь и сейчас. Огромные их клювы — только для корма, не для борьбы и защиты.

Хотя бы один остался, чтобы погладить его по невинной голове с раздувающимся, как на ребенке, пухом.

Рыба, раздувая бока, лежит в лодке: там есть немного воды, и она успевает схватить немного жизни, надеется, что не последний глоток.

В рюкзаке Циклопа лежит привезенная с войны никелированная плоская фляжка: не он ведет, он вообще не водит и не поведет, не повезет никого, после того что с ним случилось. Разве что велосипед. Ну да он счастливее: почти все, кто с ним был, Хохол сказал, остались в реке и на берегу. Он ведь штурмовик был, десантник, и сложен был до своих госпиталей — циклопически. Мясо сошло, но кости-то никуда не делись: длинные, широченные.

Во фляге было темное вино, брага какая-то. В несколько глотков удалось ополовинить ее и, пружиня по траве еще веселее, четче, подойти к лодке и незаметно, хотя и не прячась, положить ее на место. Они были рады уже и тому, что больше не рвешься уйти в глубь острова, мимо брошенных гнезд.

В мире наступила тишина, при том, что звуки никуда не исчезли, а просто немного приподнялись над водой и отразились от ее выпуклой поверхности. Зачерпнуть воды из-за борта, прополоскать рот.

— Что не ловишь?

— Не хочу.

— Вот те раз. Бери удочку. Возьми вот мой спиннинг.

Их здесь нет, больше никого нет, только ты и озеро. Люди, львы, орлы и куропатки, лесные олени и рогатые птицы. Все это несерьезно, это голубое сияние, оно — просто пленочка над головой, тонкая атмосфера, точнее, троика: тропосфера, стратосфера и мезосфера, и всё. А дальше, на высоте ста километров, — линия имени Теодора фон Кáрмана, отделяющая все это «сиянье голубое» от черного космоса. Сто километров — это почти столько, сколько мы сегодня с утра проехали, за час с небольшим. Вот столько нам положено, со всем, что мы есть. А дальше — лабза космическая, хлябь, пучина. И вся эта лента жизни — только газы: водяной пар, испарения, журчащие токи и потоки, бурлящая пелена ничтожества и всего.

Циклоп снимает куртку и остается в узкой, типа борцовки, полосатой майке, которая на нем, выставившем наружу свои мослы, кажется концлагерной формой.

Неудержимо тянет пружинящее ничто: лечь, спать, упокоиться в нем, уплыть вместе с островом в сияющую середину озера и опуститься на его дно. Там чистота, там внутренняя тишина земли, похожая на черный космос, — только здесь, на узкой мантии населяемого, длятся эти пьяные жертвы, вечная охота. Охота то одного, то другого. Выдергивание пойман-

ного из воды, выклевание увиденного из яйца, настигание в покое, подрывание в засаде. Так и Циклопа подорвали в засаде, точнее, напали на них из-за скалы, как на дичь. Вражда, вражда, подкарауленные мечты. Прободенные зародыши, битые сферы. Земля, ты сплавина, зыбун, земля охоты. Не на кого охоты, а просто — охоты. Всем охота чего-то. Кого-то. Жрать-жрать-клевать. Жуй-жуй-глотай, как говорит Хохол, угощая кого-то.

Кого ты будешь жрать? Кого ты поглотить? Кто тебя поглотит? Кому ты себя дашь на съедение?

Никому. Никого. Только пить, пить хочется. Но уже не из Циклоповой фляжки.

Циклоп на глазах загорает, плечи его пунцовеют, и ярче на правом выступает сделанная еще до армии наколка: что-то неразборчивое. Мелкое. Она еще и гуляет на мышце, когда Циклоп забрасывает удочку за очередной извивающейся, клейкой добычей.

Пеликаны вернулись и сидят вдалеке на воде: вот они. И сейчас, с закрытыми глазами, в уже почти совершенно светлой после пасмурного рассвета комнате, их можно увидеть на прежнем месте. На неподвижно бликующей воде они сидят, серо-желтоклювики, верхняя часть клюва — серая, а нижняя, резервуарная, — желтая, и как будто чего-то ждут.

— Ничего. В следующем году будет им потомство. Они только на один сезон паруются. А на другой — уже с новыми.

Хохол тоже дальнотзорный, увидал их вдали.

Значит, эти пары остались ни при чем. Тупиковые, но непокоренные, изгибая свои жертвенные шеи, они сидят, даже вполне беспроблемно, на линии солнечного пылания. Ветерок колышет пух на темени ближайшей, крупной птицы.

Она и сейчас здесь. Вот здесь, в почти совсем посветлевшей комнате: даже облака чуть разорвались на востоке, хотя солнце и не показалось. Тут пеликан сидит, прямо в воздухе, колеблясь, — ему везде место. Его не видно, но он тут. Чего он хочет?

В глазах больше не мечутся полосы желтого и зеленого, хрустящего свежестью тростника, нет слепящей призрачности вездесущего полудня. Есть прозрачные, прозревающие настоящим солнцем сумерки и сероватый, как и они, Пеликан. Он тут, и это не слишком много «Абу-Симбела», вдогонку к фляге, чтобы наконец-то уснуть, это совсем все другое. Это не попытка опьянения, ничего не давшая. Он здесь.

Чего он хочет?

Птица как будто реет перед глазами, которые и открыты, и закрыты одновременно, она так сильно тут, что глаза не хочется открывать: это может смутить друга. А когда открываешь и не видишь его, тоже понимаешь, что это он так пришел, без давления на чувства, а просто хочет побыть тут, и ты сиди и слушай. Потому что ты уже не лежишь, что толку лежать, да и как можно, когда происходит чудо.

Он серьезен, но не печален, а как-то очень устремлен к тебе, он будто пришел сообщить что-то, и ты дальнотзорно, как будто только умом, видишь его крошечный внимательный глаз.

Только одним глазом он повернут к тебе, терпеливое существо, лишенное и разоренное, но не лишившееся улыбки, веселья, иронического наклона головы, то есть такого почтительного наклона головы, что кажется: — не смеется ли он? Он послушен, зорек, неуклюж, добр. Он ужасно встревожен о тебе и вообще.

На стуле лежит свернутая «олимпийка» и поплавок — единственное, что осталось от выброшенного в воду удилица. Поплавок — на память. Больше ты никогда не возьмешь в руки орудие охоты, а поплавок — что-то вроде якоря с вернувшейся — возвращенной — эмблемы.

Дневник отняли, но он переписан давно, по памяти, простым русским языком, без всяких ятей и фит, их уж нельзя было упомянуть, в обычную общую тетрадь. Там не найдут. Там надпись «Биология» на первой странице.

Пеликан все знает, страдалец озер.

— Севернее нас он не летает. Мы — это предел ему.

На самом деле он бывает везде, вот и в комнату пришел.

В сером воздухе — серый пушок шевелится: не спугни, думай о нем, дыши так тихо, чтобы его пух расходился от твоей ласки.

Все знают уже, что пеликаны не кормят своих детенышей своей кровью, но вот чужих-то они могут утешать, даже если они уже почти совсем не дети, до четырнадцатилетия осталось всего три недели, а потом, если поймают на краже акваланга, отправят в колонию. А зачем он нужен, этот набор баллонов? Даже если загадочный Он лежит на глубине, смешно вылавливать его и тайную истину путем погружения.

Он хочет, настоящий Он, вот эта недоразуменная по виду, шепотливая птица, одного — затихнуть тебе и слушать, чего он хочет.

От тебя, конечно.

Слез, веселья, правды. Он смеется в тишине, только это невидимо.

Он зовет углубиться в тишину, ничего не исследовать, не предпринимать, а послушать его, послушную птицу, потерявшую все, кроме полета и какой-то странной уверенности.

Ты увидишь длинный сон, немой, полный событий, а тот, кто умеет, даст и звук.

* * *

«Я сначала вскочил, а потом понял почему, но не сразу. Сначала я застыл, как восковой, и слушать-смотреть стал. Воспринимать, обстановку оценивать. Вскочил и стою, даже головы не поверну. Только зрачки, как в маске, в прорези — раз, на часы. Видно 4:15. Серые, прозрачные сумерки в доме. И ходики на стене бьются, они у нас спешат, но вчера вечером Серафима Николаевна их подводила. Я ее Ямуной больше не зову, ни в душе, ни в жизни. Я вырос и даже сейчас — стою и чувствую рост свой. Во фланелевой пижаме стою, а она на спине вдруг мокрая, хоть выжми. И спать не хочу, небо — как саржа натянутая, я-то знаю, что оно не голубое

вовсе. А это все влага делает, дышим мы, и земля дышит, отсюда — радуга, в луче роится. Но сейчас ее нет, а я стою, глаза нараспашку. Я не сплю — вещи спят вместо меня, не разбудишь. Календарь на стене спит. Телецкое озеро на нем, и все даты спят, включая сегодняшнюю. Пятый час утра у нас, в Женеве уже за полночь. Там только что, до двадцати четырех часов, записывались последние, кто на Олимпиаду к нам поедет. Не все ведь хотят. А сейчас уже — все. Опоздатушки-перепятушки, лорд Киллиан Килланин теперь знает, кто в Москву поедет на турнике прыгать. И стол спит. И табурет. И по ним видно, что они от нас отдыхают. Днем-то они и не вещи вовсе, а так, «к вашим услугам». А пока темно было, они дух перевели, а сейчас таким особым сном спят, что в них душа целеет, исцеляется. Они прямо расправились, так что даже я им, ни одной, сейчас не мешаю. Им даже все равно, что смотрю на них. Я же не пялюсь, головой не кручу, а так, как в прищур, сквозь маску, сообщаюсь. И кружевная накидка спит, и штора. И Серафима Ник — так еще короче — отвернулась лицом к коврику на стене и спит в свой сон. Она сейчас и не мать мне, и не бабушка, и не историк, а так, вся на свободе, и такая спина у нее, независимая. Она это умеет: сказать «отвали» при случае.

4:28. В поле все видно ясно: у нас в палисаднике одно дерево, зато сирень, так на нем, если голову повернуть, все ветки, все сиреневые конусы сосчитать можно. Но я не поворачивал. Я слушал. Что-то идет, подходит, а я еще не разберу. Оно, поди, уже громко, близко — а еще ничего не слышать — все тишина собой закрыла. Все прозрачное такое, как будто воздуха нет. Никакой ряби по нему не идет, ни морщинки. Недвижимо.

4:38. Первая птица запела, и по всему как ветерок прошел, через открытое окно до лица дотянулся. Я глаза еще скосил — себя в зеркале вижу: в белой, кремовой фланели стою, пуговицы большие на куртке.

С. Н. шила, она мне постоянно новые пижамы шьет, а пуговицы одни и те же: со старой отпарывает, на новую пришивает. Я их с младенчества ношу, они мне сон навевают. А сейчас — нет. Сейчас они, как и я, — одни глаза, плоские вопросительные. И уши.

4:43. Грач каркнул в степи, одинокий. Скоро нахлынут, загальдят. А пока — только гул пошел с «железки»: перестук колесный, неотчетливый, сплошной. Но это так, отвод ушей, а главное-то где-то тут рвется, иначе что меня разбудило, подняло? Но все еще не слышу его. Звук, как солнце, — уже рядом, но еще не тут.

Солнце взошло уж, но на востоке холм возле города — он заслоняет. Оттого у нас каждый рассвет — рассеянный, все вдруг таким золотым становится, как будто золотой светофильтр к глазам приставило. У С. Н. икона есть, она при таком свете вся золотым сиянием берется и сама с тобой говорит. Хорошо в такую ночь — раз солнце не взошло, и луча нет, ночь еще, — молиться, да не о чем. Разве что сказать «спасибо», молча. Все есть ведь. Деревья и трава неподвижны, и я у них учусь. Красный цвет первым прорезался, мне видно. То есть не видно, а так, бликует в комнате что-то, алая полоса реет, хитон, что ли. Какие-то дребезги по воздуху пошли, будто лучи себе дорогу пробивают. На всех предметах позолота, пыльца такая, что возьми — и все на пальцах останется. Но я ни за что браться не хочу, я сам в позолоту хочу. Только пошевелиться боюсь, — если дрогну, хоть мизинцем, звуку уже не проколоться ко мне через это все: грачей, ходики, стук колесный, и как дышим мы; я молчать должен. А меня так и рвет — снять все с себя и бежать в лучи, под первое солнце. Я только знака жду. Вступления.

Я ведь плохо слышать стал. Город склеил, и тишина наступила. Я думал — наоборот будет. Отца искать готовился. А вместо этого совсем оглох. Слышать, что все слышат, — это,

по-моему, глухим быть. Я теперь весь стал какой-то общественный, глухой. А вот — в тишину подняло, и пока своего не услышу, стоять буду, как эта, забыл имя, которую на месте с иконой разразило. Наташка девкам рассказывала по секрету, еще малолеткам, а я подслушивал. О боге спорили. Наташка и прочие деревенские прижухли, а рыбачка, да еще одна городская не поддались им, говорят, мы не верим, и всё. А вы, девки, дуры, дуры. И разругались. А я сам, вольной волею стою, но и не сам: оно подкатывает ко мне что-то, велит. Только бы С. Н. не проснулась, она раностав, ее время уж подходит. Она встанет, и все вещи в себя уйдут, ей подчинятся, и такие простые, свои станут, а сейчас они — как люди. Праздником, свободой дышат.

Но С. Н. скоро не встанет. Устала она за вчера. К нам вчера Гутя-славянка приходила. Ее вообще-то в деревне сестрой-славянкой зовут, у нее третья группа инвалидности по голове. Но она шестьдесят гнезд картошки сажает и еще в театре пол моет, Гутя загребушая. Глаза вкось глядят, черные, хитрые, и говорит — привыкнуть надо, косноязычная она, но и остроязычная. Пришла с бутылкой, еще заранее говорила:

— Я, Серафима Николаевна, приду в Троицкую субботу, родителя своего помянуть. Я не смотрю, что в деревне считают, что на Троицу одних утопленников да удушенных поминают.

Родителя — Иосипа Броза то есть. Гутя девятнадцатого года рождения, на три года Серафимы Николаевны моложе, и все стоит за то, что Иосип Броз тут, когда в Красной гвардии служил, на разъезде железнодорожном остановился у ее матери. Как раз в восемнадцатом году, накануне того, как Колчак, то есть белочехи, напали. Потом Броз Тито, — он тогда не Тито был — в Омск уехал. Женился на русской, не на матери Августы, и жить стал, в мастерских каких-то работать. Думали ведь, что Колчак надолго.

В деревне никто особо не сомневается, что ей Броз Тито отец, она даже посидеть успела, когда с Тито тезка его поругался. Два Иосифа. Но не за то сидела, что дочь, а так, по случаю. Пальто какое-то умыкнула, поди, пока в гардеробщицах была, говорят, но я не верю. Зрение у нее падает. «Того гляди, — говорит, — совсем ослепну. Но я не горюю, — говорит. — Прогриву».

Ветер вдруг широченный по всему, по степи покатился, и я подпрыгнул. Не знаю, как это я так выпрыгся, видать — еще выше стать хотел. С постели — на пол, а с пола — только в воздух.

И пока я в воздухе висел — так, секундочку — я услышал. Первую побудку услышал. А когда приземлялся на ноги, руками я уж с себя куртку рвал, пуговики только полетели. Я такой веселой музыки просто не слышал никогда. То есть веселой-то полно, вот про веселый ветер я люблю песню, хоть ее и часто исполняют. А такой — нет. Радости такой не бывает, не бывает. Часто-часто звуки летят, и я лечу. Я уже с крыльца слетел и ближе к звуку бегу.

Первая тема кончилась, вторая началась, и так и подкатывает, — кто-то на трубе играет, и так радостно, так светло у человека на душе, что радость, как вода, через берег льется. Я к берегу бегу — наш-то дом на отшибе.

С. Н. все хотела променад на Верхнем Алгине сделать, а народ местный не поднялся. Это им надо было свои участки рассечь — нагорную часть от нижней левады, — да кто же даст, чтобы там кто-то фланировал, где они к своим мосткам идут? А красиво бы было — по самому

гребню горы пройти, и зонтик белый от солнца над головой держать. С. Н. — непонятного происхождения, но поскольку она женщина образованная, понятия у нее дворянские о красоте. Что красота важна то есть. А остальным — все пользу дай. Одна семья только дала сначала проход сделать — убедила соседа С. Н., что такого высокого и красивого места на всем течении Тобола, на тысячах километров нет.

У них и сейчас забор там низенький, игрушечный, я туда и ринулся, — длинными ногами махнул, только фланель мелькнула. Штаны я не стал рвать с себя, раз в спину так сильно толкает ветер, а все остальное за грудь так и подымает. Так душа и поднялась.

Как же человеку бывает весело!

Каждый участок поперек — метров тридцать-сорок, и я на переломе темы каждый раз через забор перемахивал, и бежал, бежал, четыре забора перемахнул, они мне все — едва по грудь. Одни Куркули — еще и поверху проволоку, ладно не колючую, натянули, все они Куркули, он — Куркуль, она — Куркулиха, одна девка их — рыбачка. Я давно ее на реке не встречал, но все равно рыбачка. И сад у них — куркулий, уже снова на шпалеры свои лозы натянули, жасмин — целое дерево в цвету, и по углам сада — четыре миндальных дерева. Все в розовом цвету. Зачем им променад, у них и так — пятнадцать соток, и дерево с райскими яблоками посередине. Но пока не плодоносит, пока оно — всё в цвету.

Запахи прекрасные как по лицу водят, я даже встал, да и музыка тут — гуще быть нельзя. Пока бежал, к трубе прильнули и кларнет, и гобои, и фагота два, и еще какие-то духовые зверюшки, которых я не знаю, — вроде рожков, а тут я как встал — литавры ударили. Ну про мелочь, вроде всяких скрипок и виолончелей, я не говорю. Альтов, скажем. Они уже давно смычками прыгают и вместе с трубою радуются.

Я голову к реке повернул — а там, хоть первый луч, как литавр, мне в щеку ударил, — все бело, волнисто от тумана. Он волнами расходится, высоко, на метр от травы, на метр от реки стоит.

Какая же красота. Это даже больше, чем миндальное дерево, хоть оно и розовое.

Все бело, облачно, атласно, пухло. Как облака на землю спустились. Стою и дышу, и слушаю, а музыка со всех сторон меня обходит, я особо уже ни к чему не приглядываюсь, а просто смотрю, как пью. И вдруг чувствую, кто-то смотрит на меня. Я это сразу понял. И будто в этом ковре из вещей что-то особо движется. Я начал движение искать, а не вижу. Туман так, едва роится, солнце восходит — оно же стремительно идет, с каждой минутой все выше. А это движение — медленное, но не потому, что медленное, а потому, что далеко. И я в туман вгляделся.

А она прямо на меня идет.

В тумане движется. Недаром я белоснежный солнечный зонтик вспомнил.

Идет, в белом кисейном платье, по широкому, просторнейшему пойменному лугу — недавно деревья-то все срубили, весь тал выкорчевали, проходы к реке и весь берег открыли, и всю пойму видать. Разлив-то вот только схлынул. Как она не боится там идти? Туман высок

от земли, а ей — даже не по пояс, она, как кобылица, и идет так же плавно, шагом, и шея так же, чуть не покачивается на ходу, столь длинная.

На груди платье в плиссе собрано, складки мелкие заглажены, сколько труда на такую ерунду.

Солнце ей на голову засветило, в затылок, и волосы я рассмотрел. Еще больше возни, чем складки заглаживать, такую прическу собрать. Темно-рыжие огромные волосы убраны не то во дворец, не то в корабль какой-то, как в восемнадцатом веке. Я такую пудреную куафюру в учебнике видел. Но я шучу, конечно, просто сложно кудри ее заплетены в какую-то корону. Не наспех подколола и пошла. Нет. Шпилек, наверное, полная голова — такие медные кудри убрать. Полная голова железа. У С. Н. тоже волос полно, но они прямые, так что я в этом кое-что понимаю. Толща труда в этой прическе. Полная голова железа. Если уснуть, не разбирая, головная боль наутро обеспечена. Но она споро идет. Лицо, правда, и в самом деле бледное, как напудренное.

На мелком месте туман пониже, и видно стало, что в руках у нее есть что-то. В одной руке — я увидеть не могу.

Она идет, литавры ухают. И пояс широкий на платье, шитый и темный, бордовый, что ли. Волосам под стать.

Узкая вся, высокая, как я. Смотрю вперед, но взгляда ее не чувствую. Странно.

В руке правой у нее — колосья, несколько. Там ведь поле за поймой. Огромное пшеничное поле. Но до колосьев-то ему — как яблоне до яблок. Старые колосья в руке несет — как цветы или еще дороже.

Ветер налетел, и музыка закругляться стала. Это ведь рондо было какое-то. Рондо — значит «круглое», это я знаю, вот и веселая, беспечная тема все еще витает, — теперь уж всем составом, и она, Она — к воде уж подходит, а ног все не видно, в тумане идет, как плывет. Величественная, всякой торопливости чуждая, даже странно, что такая порхающая музыка вокруг нее — ее приход — трубит.

Прядь волос все-таки выпала на лоб из прически. А она уже близко, к воде сходит, и бедра стали видны, медленная ее походка. И идет, дорогу знает. Запястья на платье, манжеты твердые, все браные, шитьем шелковым белым по белому вышиты. Лоснятся матово, как парча, и лицо матовое, как напудренное, без румянца.

Трудно ей в тумане к воде спуститься и ног не замочить. Остановилась.

И музыки больше нет, один гул, гул последнего tutti ми-бемоль мажорный.

Я понял, кто она. Она колосья в туман опустила, не бросила. Просто воде отдала. Налитые такие колосья, несмотря что прошлогодние.

Я тоже не верю ни во что сверхъестественное. Ни во что необъяснимое. По-моему, все можно объяснить, даже запросто, но такой вот миг очарования, эти шитые запястья — сами себе ясность, пусть и туман, туман вокруг.

Это Она, М. В. Это ее ми-бемоль мажор я всю зиму слушал.

С. Н. говорит, она сюда в двадцатых приехала, а она — вот. Смотрит на воду.

Я обернулся кругом — кто же смотрит-то на меня, если она смотрит на воду.

Рыбачка стоит на балконе и смотрит на меня. А потом — на берег.

Я повернулся, а на берегу — никого. Только туман, облака там, где она стояла. Розовые слегка.

Это кровь у нее с пряди капала, я видел, да верить не хотел. Не хотел себе говорить. Пуля у нее в голове. Полная голова железа. И из-под волос капает, только неприметно.

Я еще рыбачку захотел увидеть: — повернулся — а ее уж нет.

Только что стояла. Глаза — одни зрачки. В тельняшке Циклопа, поди. Она на днях с Хохлами на озеро ездила в Белозерку. Тал вырубили, так теперь в плавнях приходится им скрываться. С удочкой ее уж не увидим, ручаюсь. Поудил в ней Циклоп, не удивлюсь. А как иначе? Вот и не спит, какой сон. И волосы опять отросли копной. И дневник забыла, что потеряла.

Но М. В. ведь к ней пришла. Она, рыбачка, видела. А я — только слышал. И чего ей так весело, подстреленной? Кому — что за эмблема — она колосья несла?

Колосья — символ справедливости, мне С. Н. как-то сказала. Они потому у нас в гербе есть. Отнюдь не богатство и не единство славят. А тайную истину, которая никогда не тайная, а просто так, облачная. Затуманенная.

Я сел возле водосборной бочки — Куркули прямо посереде намеченного променада ее воткнули — и думаю. Сказать С. Н. или нет. Она бы удостоверила. Она ее, М. В., въяве видела. Цветущую, как жасминовое дерево, тридцати шести лет.

Это не призрак. Они двоим не являются, в широком свете не ходят. Это сама она, М. В., пришла со справедливостью. Колосья несет. А кровь и сама впереди нее бежит. Но нам-то зачем? Мы разве виноваты? Мы — дети. Хотя как сказать. Я уже Ямуну Ямуной не зову, а рыбачка, того гляди, себе второе имя подберет. Сама. Или Циклоп поможет.

Помои помоями — это взросление, но мы пока дети. Последний бой.

Или она, рыбачка, видела что-то другое? Вряд ли.

Она пришла, потому что пришла. Она сама хотела, чтобы ее разыскали.

Планета Венера кажется совершенно белой, лучистой, светящейся, без пятен, а все это, как Ямуна говорит, фикция. Мы видим не саму планету, а толстый слой облаков вокруг нее. Туман. Атмосферу, которой дышать нельзя, потому что она полна ядовитых газов. Вот и вся красота, блеск, изумление. Я ото всего этого далек. Пока.

А рыбачка в городе ukrала акваланг, пока не поздно. Пока ей не четырнадцать лет и колония ей не светит. А Циклоп ей помогал, хотя ему уже двадцать. Он и поедет на зону, если что. Получит там рабочую специальность заодно. Пригодную к его уродству. Это все Гутя вчера рассказала. Она все знает, да никому не скажет. Научилась, где надо язык за зубами держать, у нас этому все ученые, да не все тугие. Наученные то есть.

Здесь, под берегом, на этом перекате кто-то лежит. Кого рыбачка, начитавшись дневника, хочет достать. К нему сама М. В. зерна мщения сеяла, вместе с кровью, только что.

Там — мой дед. Механик Паританов. Двумименный. Только он молчит.

Молчит.

Молчит.

Молчит.

Они будить его хотят. Разыскать — что?

Я отца ищу — деда нашел, почти.

А им, — не иначе — истину надо.

За справедливостью ведь всегда истина стоит, она даже больше.

Ямуна в гнев Божий верит, М. В. — справедливости ищет, а рыбачке — правду дай, утеху любопытству.

Чем старше — тем злее. Какая дрянь тогда — жизнь. Взросление. Любовь.

Впрочем, что? Я просто непричастен этому, этим помоям и испарениям, но как же красив этот туман, расходится вот он уже, как красив.

Не может быть, чтобы хлеб и кровь не проросли, не по-людски это будет. Раз уж одна верит, другая — колосья посеяла, то третья — всходов дождется. Да и я — с ней.

А мне — что? А мне — слушать, звук искать. Без меня — немота всё».

II. КРАСНЫЙ БАНТ

*Слышалешь, в старожитности
На стороне святой
Младзенец с панной жили,
Их людоежеры думные згубили³.*

*Вот, Господь сидит на облаке Своем и грядет на Египет! И
потрясутся от лица Его все идола египетские, и сердце Египта растает
в нем! И истоцатся воды в море, и оскудеют реки, и водостоки
египетские оскудеют и высохнут! Камыши и тростник завянут, и поля
по берегам реки не принесут плодов, и всё развеется и всё исчезнет!*

Александр Блок

«Рамзес: Сцены из жизни древнего Египта»

Приближение из космоса, из дальнего космоса. Вот Земля с ее умиротворяющими красками, таким естественным темпом вращения (это пока есть возможность сравнить ее с тяжелой машиной Юпитера, с порывисто-блестящей Венерой в белой пелене). Потом и Земля надвигается, как машина, непознанная (никто ведь не знает толком, что у нее внутри). Она вращается все ошутимее, зримее, цвета — океанов, плато, гор, лесов — столь же ярки.

Вот расселина реки Иорданской, здесь голубь слетел на Христа, вот Эгейская голубизна, соляные копи турецкой Каппадокии, зелень иранских Гюлистанов-садов, синь Каспия, желтые пески Туркестана, казахские голые степи и серая земля, бледное Тургайское плато.

Вот и река Тобол (голубая) в окружении зеленых, уже скошенных пойма, вот огромные стада коров, разлегшихся у воды, — несжатые хлеба, совершенно спелые, готовые начать осыпаться.

Деревни, казачьи станицы вдоль (и вдалеке от) реки, конники в зеленой форме пылят по лесной дороге.

Вот линия дороги железной, стальной, — светлый Транссиб слепит глаза, а игрушечный поезд на станции, черный с красным паровозик, выпускает струю черного дыма и дает свисток.

Река и Путь пересекаются, — и совсем близко, на их пересечении, в окружении редких лесов, среди желтой степи, — город.

Курган и есть, потому что на холме.

Всё ближе к земле, и всё веселее.

Широкие длинные улицы, коробочки домов окружены садами.

Вдоль реки — а она течет с юго-запада на северо-восток — девять улиц и столько же переулков. Самые южные, торговые улицы — Береговая, Троицкая, Дворянская. Самая север-

³ Слышали ли вы, / Что в старые годы / На юге жили юноша и девушка, / Но гордые людоеды погубили их (польск., искаж.).

ная — Вокзальная. На ней город кончается, севернее нее — поселок Курган, а еще севернее — Транссиб, дорога.

Земное время жестко, а перед жестким приземлением (оно и предстоит) имеет смысл взглянуть на местные часы.

На церковной колокольне часы, время 4:20 пополудни. Часы на башне вокзала показывают два часа. Два часа двадцать минут — разница между местным солнечным временем и временем на первом, Царскосельском вокзале империи, в ритме которого дышит дорога. В Вене — час пополудни, в Лондоне — полдень.

Зазвонили маленькие колокола костела, по улице прошел, придерживая шляпу, рыжеволосый раввин, татары сидят в саду (сверху видно хорошо) при мечети, с пиалами в руках.

Два англичанина во дворе Дома иностранных монополий привязывают чемоданы к экипажам.

Город в степи интернационален, как всякий город на перекрестке путей.

Воскресенье, пыль, начало сентября.

Так мало автомобилей, так пахнет грозой и дегтем, солодом и сидром, так огромны шляпы дам.

Мы в этой истории, и больше нам нет возврата.

* * *

СОГЛАШЕНИЕ РОССИИ, АНГЛИИ И ФРАНЦИИ О НЕЗАКЛЮЧЕНИИ СЕПАРАТНОГО МИРА

Лондон, 23 августа (5 сентября) 1914 г.

Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то соответствующими их правительствами, заявляют о следующем:

Российское, английское и французское правительства взаимно обязуются не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны.

Три правительства соглашаются в том, что, когда настанет время для обсуждения условий мира, ни один из союзников не будет ставить мирных условий без предварительного соглашения с каждым из других союзников.

Во свидетельство чего нижеподписавшиеся подписали эту декларацию и приложили к ней свои печати.

Подписано в Лондоне в трех экземплярах 5 сентября 1914 г.

ПОДПИСАЛИ:

Бенкендорф

Э. Грей

Поль Камбон⁴

⁴ Александр Константинович Бенкендорф — русской посол в Лондоне; Эдуард Грей — министр иностранных дел Великобритании; Поль Камбон — генеральный французский резидент в Англии.

* * *

У подъезда фотографии стоят, дожидаясь своей очереди, четыре молодых казака; лишь одному из них, уряднику, — около тридцати. Светлоусый и светлобрый, с наглыми крапчато-карими глазами, он обнажает шашку и касается острием торцового тротуара.

— Вот так ставить, поняли? Перед собой.

— Но.

Утвердительно откликается молодой, здоровенный парень и копирует жест урядника, приготовленный для вечности.

Светлый сентябрьский день перевалил через половину, а лето, кажется, еще не достигло ее: в воздухе — зрелый покой, но еще так жарко, как бывает в начале июля. Лица молодых блестят, а когда урядник еще дальше назад сбивает свою заломленную фуражку, открывается его девственно-белый лоб с капельками пота.

Заслышав движение в подъезде, он оборачивается на пронзительный плач ребенка и тихое женское «чшшшшш». По потертой красной дорожке вышли молодой офицер, хорунжий Сибирского казачьего войска, и его жена — высокая, выше его, в бледно-розовой блузке, с блестящими русыми волосами и не улыбающимся лицом.

— У-у, у-у, у-у-у, — повторяет она, укачивая годовалую девочку. — У-у, у-у, у-у, у.

У подъезда стоит, ожидая, пролетка, запряженная непаристыми — вороная и рыжая — лошадьми, и женщина подходит к ней, усаживает ребенка на кожаное сиденье. Девочка в белой, с рюшами, блузке, черноволосая и смуглая, как отец, затихла на миг, но вдруг вновь принялась хныкать, проситься на руки. До нее первой донесся далекий, нестройный гул — звук движения множества людей. Офицер отошел ближе к перекрестку, навстречу гулу: все ближе, громче разлаженный топот ног.

За ним пошли и другие казаки, все еще смеясь.

С дергающейся бровью, женщина унимает дочь, не глядя на ушедшего на росстани мужа, но вся полыхая от досады на него.

Пятеро казаков стоят и смотрят вперед, в даль Дворянской улицы: там, выворачивая из Троицкого переулка, появляется огромная серая змея и все прибывает в объеме и длине, пыльная, собранная с боков, но немускулистая, усталая, матовая.

Казачка вскакивает на подножку экипажа, садится, берет ребенка на руки и толкает кучера легонько ладонью в спину:

— Разворачивай туда!

Но он начал движение еще до ее приказа. Легкой рысью пробежал двадцать метров и встал лицом к уже увиденному. Вровень с оцепеневшими, исподлобья глядящими вперед каза-

ками. Только молодой хорунжий самоуверенно выпускал дым на сторону, едва вынимая мундштук изо рта.

На них ползли пешим строем несколько сотен мужчин в серой униформе, без оружия, но с мешками на поясах; впереди шли несколько человек в киверах, остальные — в помятых высоких кепи того же серого цвета, а по бокам, держа винтовки с примкнутыми штыками, шли конвойные в русской пехотной форме.

— Австрийцы.

Офицер затоптал папиросу.

— Пленные? — спросил кто-то из молодых. Робкий голос.

Ребенок утих в наступившей немоте, паузе всех взрослых разговоров.

Колонна шла навстречу клонящемуся уже к закату солнцу и тени вперед не отбрасывала: вся тень этой массы людей клонилась назад, зато поднятая пыль под порывом ветра ринулась вперед — золотая пыль с клубками паутины и осколками сухих листьев, они даже и звенели как-то фарфорово в общей бессловесности.

Казачка с дергающейся бровью смотрела вперед, и все они выглядели заградительным редутотом — пять казаков и колесница, пока не развернутая тачаночным порядком, но за этой женщиной с дитем — она вновь посадила девочку на колено и бессознательно качала ее — дело бы не встало.

— Сейчас остановятся: они их в «Арс» ведут, — урядник уже готовился уйти. — Вот куда. Все кинотеатры, я слышал вчера, закроют, там их поместят. В госпиталях, в казармах. Девать их некуда. Тысячи пригнали.

Хорунжему из дальней станицы было нечего добавить. Он просто смотрел, как конвой остановил колонну у кинотеатра, и конвойный офицер скрылся в подъезде. К стене кинотеатра были прислонены акробатически сгруженные друг на друга стулья, вынесенные из зала и фойе.

— Довольствие у них, как у нас. Столько же пайка, я слышал.

— А нам у них — так же будет? — Опять вылез робкий голос.

— А ты не попадай, — урядник захохотал. — А то ради тебя там в Берлине все публичные дома закроют, чтобы тебя разместить. Жди!

Серые люди вытирали пот и переминались с ноги на ногу. До их передней линии было метров пятьдесят, и начали долетать первые фразы, тихие смешки.

— Фихер кеньер⁵... Болесны... джимовы⁶...

⁵ Белый хлеб (венг.).

⁶ Болезненный... зима... (польск.).

Гул, гул.

— До зимы назад будем, если он так к нам валит, германец-то. Жидкий хвощ, видать, — неожиданно заговорил маленький, до сих пор молчавший казак.

— Это не германец, это мадьяр. Генерал Алексеев их набил в Галиции невидимо, а этих к нам. В хозяйстве помогать. Вместо тебя, слышь, мадьяров к матери твоей отправят.

— Еще что!

— Но. Молотить как раз будут.

— Верно, — офицер нехотя подтвердил. — На работы пленных будут ставить. Поляков и чехов — по желанию, на какую они сами выберут, а германцев и мадьяр — куда пошлют.

— Навоз месить.

— Не больно-то они кинутся.

Урядник что-то шепнул молодому с робким голосом, и оба захохотали, не глядя на жену офицера, но поводя глазами в ее сторону. И она поняла. Вместо мужа этот смешливый казачок (красивый, в руке — кружевной платок, с которым хотел сфотографироваться, да так и забыл в руке) уже насылал ей мадьяра в помощники по всем хозяйствам.

Из-за колонны пленных, все еще неподвижно томившихся на улице, выплыли — не одна за другой, а разом, — полдюжины молодых цыганок с бурлившими у них в ногах, висевшими на их согнутых руках детьми. Высокие и тонкие, как жирафы, они уже шли впереди колонны пленных, и те, очнувшись от томления, смотрели им вслед, на узкие, просвечивающие в низких лучах солнца легкие юбки.

Первая цыганка, низколобая, с пепельно-смуглым лицом, крикнула певуче офицеру:

— Пан молодой, позвольте погадать на щастье, на удачу-долю вашу, трофеев нагадать и возвращенье скорое.

Другие, еще ее моложе, закружились вокруг казаков, схватили их за руки, гомоня тихо и уважительно, но настойчиво. Но урядник перебил их:

— Идите, идите, какую долю вы мне пригадаете, мне бабушка в станице судьбу какую хочешь сотворит. Уже все наколдovala.

— Грех, грех, молодой, — обернулась первая цыганка. — Судьбу не сотворишь, ее знать надо, знать. Судьба от Бога.

— Иди им гадай про судьбу. Им пригодится тут в плену жариться.

Молодой робкий казак протянул медную монету девочке-цыганке с двумя редкими косичками, пока мать ее — казалось, немногим ее старше, — наговаривала ему что-то в ухо, отводя в сторону, глядя дымчатыми горячими глазами то ему в глаза, то на ладонь.

Казачка положила руку с кольцом на крыло пролетки, и старшая цыганка заметила ее движение, мгновенно подошла к ней:

— Госпожа моя хорошая. Раскрасавица-голубка молодая, — начала она.

— Не говори ничего, так прими. — Она подала уже вынутую тяжелую монету в пухлую, не по лицу и фигуре, руку цыганки. — Сердце болит у тебя? — добавила она, глядя на эту руку.

Цыганка вдруг смутилась. Но скоро нашлась.

— Вот сейчас только заболело о них. — Она махнула рукой на пленных. — Вот кого только видала, но твой цел придет, не убивайся. Все как есть говорю.

Ссаженная матерью с колен девочка сидела с ней рядом и глядела на темное лицо цыганки, на подошедшего к пролетке цыганенка — сама почти такая же смуглая, как они.

Офицер подошел к пролетке и, не глядя на цыганку, сказал казакам:

— Идите, а то фотография закроется.

Колонна впереди пришла в движение и начала вползать в «Арс», как будто затягиваемая вакуумом, созданным в нем.

Офицер вскочил в пролетку, взял девочку на руки и передал ее матери. Пыльнолицая цыганка, думая о чем-то своем, но кланяясь, отошла, облизывая странно алые на таком темном лице губы.

— Не сомневайся, госпожа моя расхорошая. — И она положила тяжелую серебряную монету за пазуху уверенным жестом, все кивая и не глядя на смеющегося в ее спину урядника.

Цыганки — разноцветная, гомонящая людская гирлянда — запылили вдаль по Думскому переулку, и редкие мещане, вышедшие из своих усадеб на улицу, глядели то на них, то на таких же чужих и карнавальных людей, исчезавших в черном и прохладном нутре «Арса». Серая змея им не виделась: вблизи они слышали разноречье говоров — славянских, мадьярских, немецких — и видели разноцветье мундиров, блуз, лиц. «Зеленые» тирольские стрелки, «синие» венгерцы, боснийские пехотинцы в почти черных кителях и фесках. Пехотинцев в серых блузах было больше всего, и они гомонили громче всех, предчувствуя постой и покой, снимая на пороге свои полевые кепи с давно увядшими веточками дуба.

* * *

«Пехота — главная сила армии. Способная сражаться на больших пространствах или на пятачке земли, защищаясь или нападая, пехота может успешно использовать свое оружие против любого врага, на любой местности, днем так же, как и ночью. Даже без поддержки других родов войск она решает исход битв и, если только верит в себя и имеет волю к победе, способна одержать победу над численно превосходящим ее противником. Пехоту, вступившую в бой, характеризуют железная стойкость в сочетании с грубой мощью, и они неизменно приводят ее к победе, несмотря на все препятствия и потери».

*Боевой устав сухопутных войск
Австро-Венгерской империи, 1911 год*

* * *

Ближе к реке — дышать легче. Ближе к вечеру — тени темней, синей. А мир вокруг — выше лежащих на земле теней — еще сияет неистовым, бело-золотым, парусным сиянием. Блаженная уверенность установилась в природе: так, только так. Марево дня унесло западным ветром, и все линии и цвета определились в своей невинной самостоятельности: вот еще зеленые купы высоких тополей, вот синяя рябь воды, перекликающаяся с синевой песка там, где на него пала тень. А вот золото самого воздуха, самого света: перспективы улиц звенят золотым, ранним закатным пиром.

На южной границе города река делает легкий изгиб, как будто отступает ради того, чтобы больше усадеб выступило на высоком, почти гористом полуострове песка. Усадьбы первой линии, Береговой улицы, смотрят на воду, прямо из садов люди поднимаются на обрыв над рекой, но и те, кто живет глубже, в гуще других, не обделены тайными тропами к воде.

Из глубины каждого сада есть невидимый с улицы выход на внутренний, закрытый невысокими дощатыми заборами проулок: через эти проулки можно ночью выйти к реке «незнамо», тайно от других. Можно и днем. Можно, не выходя в переулок, пройти к соседу или соседке. Зимой там по колено снег, весной и осенью — грязь, а сейчас — тишина, тени калиток, редкие реплики из садов, где пьют чай.

На западе, за Телеграфным переулком, круча обрывается: новейший австрийский пивзавод, публичная баня, больше ничего. Посередине этот нарез земли рассекает Казарменный переулок, а к востоку — подъем еще дальше ввысь, и огромный Богородице-Рождественский собор. Сибирь долго строится в камне, и этот белый храм — дальше, нередкое здесь, из-за странности течения времени, эхо наполеоновских войн, заграничных походов, французского ампира; врезанная в ландшафт победительная и рыцарская память Александра Благословенного. Круглый, с куполом-ротондой и опоясывающей здание колоннадой, он не стиснут ничем: далеко вокруг собора — пустота, внутренний двор, внутренний сад.

На пустую Соборную площадь входят и дальше идут по Троицкой улице четверо: штатский в черной паре, конвойный русский пехотинец и двое, которых они ведут, — австрийские лейтенант и рядовой. Они сворачивают в Казарменный переулок и поднимаются к реке. Двое пленных, да и их ленивый, неспешный конвоир, едва успевают за быстро идущим, спешащим чернобородым молодым человеком.

Наконец возле двухэтажного дома (первый этаж — каменный, второй — деревянный) они останавливаются на мгновение, и штатский входит в открытую дверь.

Крутая, с перилами, лестница, сделанная как будто на маленького, не совсем взрослого человека, по ней идет спешащий молодой человек; вот он остановился на площадке второго этажа, прежде чем войти в столовую, большую комнату с окнами «в два света» и обеденным столом, за которым сидит человек, закусывая и читая при этом газету, вытирая руки клетчатым красным платком. Это человек средних лет, в пенсне на мясистом носу, в атласной жилетке на белой рубашке.

— Здравствуйте, Сергей Владимирович!

Человек в пенсне посмотрел на входящего и бросил газету.

— А, здравствуйте, Петр Петрович.

— Извините, я без звонка. Поломка на линии, а дело срочное.

Сергей Владимирович встал, прошелся к окну, где стоял телефонный аппарат.

— Говорит два-шестнадцать, барышня.

— Да сломано, я говорю вам.

Хозяин дома разочарованно бросил трубку на рычаг.

— Пива хотите? Я сейчас с ипподрома. Там был смотр рысистых, скачки. — Он осушил половину стакана. — А неплохое пиво он сварил, австриец? Не повезло. Где они все, немцы, австрийцы наши?

— Не знаю. В тюремном замке, что ли. Интернированы. Я к вам по другому делу.

— А? Что?

Задав вопрос, хозяин уже подходил к буфету, доставал оттуда еще одну бутылку.

— Хотите?

— Не откажусь, наверное. Пешком шли от «Арса».

— Что так?

— Я к вам привел двух австрийцев.

Сергей Владимирович резко обернулся с бутылкой в руках.

— То есть как? — он поднял брови. — Каких австрийцев?

Гость вздохнул, как будто предвиденный им трудный разговор только сейчас и начался.

— В город прибыли пленные австро-венгерцы, в количестве трех тысяч нижних чинов и двадцати пяти офицеров. Солдат мы порастолкали, куда могли, кинотеатры, театры, даже гимназию мужскую потеснили, а офицеров предписано разместить по частным квартирам. С согласия хозяев, конечно. — Гость тяжело вздохнул. Взял уже налитый для него хозяином стакан пива, отпил. — Немцев разобрали наши местные немцы, ну, наши подданные, а я ищу место одному славянину. — Голос гостя совсем упал. — Офицеры получать будут десять рублей от казны, из них оплачивать свой стол, услуги своего же денщика.

Сергей Владимирович выглянул в окно, вниз.

— Да вот, это они там стоят.

Не отрываясь, длительно разглядывал их один, пока обреченно пил пиво другой. Он заговорил:

— Что я должен делать? Вы же видели, что в городе.

— Ничего не видел. Меня Тарабрин на машине вдоль реки привез. На ипподроме скачки были и прочее. Еще пришлось жеребца срочно оперировать. Разбился.

— Там везде они.

— Но не у меня, извините. — Насмотревшись, Сергей Владимирович отошел от окна. — Не у меня.

— Чеханков взял одного поляка. Внизу — тоже поляк. Правительство предлагает военнопленным славянского происхождения различные послабления...

— И не просите. То правительство...

— Если бы работал телефон, я позвонил бы вам. Но раз они здесь...

— Послушайте, Петр Петрович. Все понятно это. Надо им человеческое отношение. Славяне. Я отсюда вижу, что он поляк. Но у нас полгорода поляков, может быть, лучше к ним? У меня быт — дикий. Я неделями в степи. Я на ипподром приехал посмотреть скачки, мне и то пришлось... работать. Я к этому готовился? Я на это ехал? Нет.

— Я понимаю. Хотя бы накормите. Где я должен их спать устроить? У себя? Я женился месяц назад, и у меня невестка, жена брата, только что родила...

— Как, кстати, Валерий Петрович? — Хозяин закурил, раскинул портсигар перед гостем.

— Спасибо, нет настроения. Написал один раз, что отправляют в Пруссию, и всё — молчок.

— Пруссаки, да. Противник тяжелый. Но я все равно не могу. Почему вообще про меня вспомнили-то? У меня быт дикий, я вечно не дома, завтра уезжаю на юг с поездом лекции крестьянам по улучшению молочных пород скота читать. А там — осмотр гуртов и прочее. И вообще, как это помыслить даже — ставить военного в дом, где девица-гимназистка, без матери, и одна прислуга на всё про всё. Ее вот сейчас, в воскресенье, нет, даже самовар некому поставить. Нет, Петр Петрович дорогой...

Петр Петрович просто сидел, наслаждаясь покоем.

— Да я вас понимаю. Юлия Сергеевна...

— Даже не знаю где. — Сергей Владимирович махнул рукой, снял пенсне. — Вот так без жены.

— Сочувствую вам.

— На полном скаку, в расцвете, можно сказать.

Солнце ворвалось широко в западные окна — видимо, ветер отклонил листья рядом стоявшего дерева — и засияло на «диком быте»: новых бело-зеленых обоях, шелковом диване, скатерти в пол. Хозяин жил красиво, но — по крайней мере, в отсутствие прислуги, — порядка в его жилище не было, в самом деле: раскрытые книги валялись на диване, газета вихрилась на столе вместе с пустым блюдом, набитым раковой шелухой.

— Негде, Петр Петрович. Негде. Некому следить за ними. Даже во флигель не возьму. Да и готовить никакому денщику моя Дарья тут не даст, нет, исключается. Тут нужен какой-то отдельный дом, как бы флигель, но не такой сарай, как мой. Мой никакой проверки Красного Креста не выдержит.

Петр Петрович расхохотался внезапно.

— Проверка и вправду будет. В конце года вроде бы.

— Вот-вот. Еще успеете до зимы концентрационные лагеря для солдат построить, не век же им по театрам биться. И нам как-то надо жить.

— Война может кончиться к зиме, я читал.

— И я читал. А сараи на сотни человек будут строить, я и планы видел. Затянется все это. Затянется, похоже. — Сергей Владимирович подошел к окну. — А как лечить-то их будем? Тиф ведь начнется в этих скопищах. Я их лечить буду. Наряду со своими коровами и кобылами, иначе никак. Все в ход пойдем, от врачей до ветеринаров.

Петр Петрович снова прыснул, но потом поставил стакан на стол, погрузился.

— Я почему к вам привел их? Хоть вы и порочите свой быт, все-таки у вас порядочная обстановка, европейская, да-да, и язык вы немецкий знаете...

— А знаете что? Давайте сейчас позвоним Тарабрину. Он тоже немецкий знает, а обстановка у него во сто крат моей лучше.

— По-моему, он неплохой, этот поляк. Понравился мне. Постоловский его фамилия.

— К себе он его тоже не возьмет, но в соседний-то со мной дом, а? — Сергей Владимирович подмигнул. — Он же все равно пустует. Почти что.

— Сударкин-то дом? Покойного Валентина Александровича?

— Ну да.

— А сама?

— Да этой Жозефине уже сто лет. Живет любовница брата на покое, будет он сильно считаться. Чем не решение? И городу помочь в таком форс-мажоре. А мне — мне не надо.

С улицы до них долетел смех. Смеялись молодые мужчины, перебивая взрывы хохота польскими фразами. Но скоро все смолкло.

* * *

От реки по переулку шли две девушки, близко держась друг друга. В темно-синих платьях, похожих на гимназические. Солнце — уже совсем низкое, бросалось на них, на все предметы с какой-то прощальной, но просветленной страстью: горело на волосах — светлых, гладких, убранных в косу, — одной девушки и темных, почти черных, — другой. Полыхало на белых манжетах: у черноволосой девушки они были маленькими и кружевными, а у светловолосой — широкими, лощеными, атласными. Они шли и улыбались, отводя от лиц налетевшую с порывом ветра паутину и пушистые, блестящие пряди. Темноволосая девушка бережно держала под руку свою подругу, как будто та была и по душе совсем другой, чем она, а розовое свечение ее кожи было не чем иным, как тоном фарфора.

Увидев стоявших у подъезда военных, они замедлили шаг. О чем-то переговорили коротко и переглянулись, но не рассмеялись, как они делали каждый раз, поглядев друг на друга, в начале аллеи.

Оба военных уже давно издалека смотрели на них и, продолжая говорить все тише и тише, ждали их приближения.

Наконец девушки подошли к открытой двери парадного.

Светловолосая девушка остановилась первой и посмотрела на обоих взглядом хозяйки, решающей о незнакомце: кто он?

Офицер приложил руку к своему киверу, его товарищ — к мятому кепи. У них были пыльные лица, покрытые, прежде пыли, еще и загаром. На серой форме выделялись пепельные нашивки и белые пуговицы. На земле лежали ранцы. Оружия при них не было. Они так и стояли, салютуя, ожидая чего-то. Наконец офицер опустил руку и снял кивер, пригладил волосы и улыбнулся.

Стоявший до сих пор в стороне солдат подошел ближе.

— Вот, пленные. Поляки.

— Юля, им, может быть, воды? — Темноволосая девушка первой нашла, что сказать.

Офицер быстро посмотрел вновь на светловолосую девушку.

Она толкнула калитку в воротах — та не была затворена, и уже из двора сказала чистым, далеко разносящимся, высоким голосом:

— Заводите их сюда.

Она шла по двору к водонаборной бочке, рядом с которой лежал медный ковш.

Она подала ковш солдату.

— Вот, умыться дайте им. У нас по воскресеньям в доме прислуги нет.

На поверхности воды в бочке плавали мельчайшие звездочки, которые бросала стоявшая рядом береза.

— Только пить им не давайте, она не для питья. Для питья только речная вода у нас.

— Да я знаю, я здешний. — Это было слышно и по говору солдата, тягучей интонации, ставившей русские слова и звуки на неторопливую, монотонно-изменчивую, неуловимо восточную мелодию.

Он лил офицеру на руки, и тот умывался и пил одновременно, и когда расклонился, взглянул снова на ту, кого темноволосая девушка, стоявшая сейчас на краю двора, назвала Юлией.

Крылатые, тонко вырезанные ноздри у нее трепетали и казались как бы припудренными розовой пудрой, а нос с таким изяществом перетекал в широкий лоб, ровные брови; в лице и фигуре у нее была непрерывность линий, и даже то, что не было красиво — длинная линия щеки, вся породистая «долгота», незакругленность лица и фигуры, — было как исполнение одной-единственной мысли. Не мечты — лицо это было так определено и в облаке юности, в витающем нимбе упорно разлетающихся волос; именно какой-то мысли — далекой и внезапно приблизившейся, капризной, своевольной и покорной лишь тому, кто эту мысль думает и никак не может додумать.

У девушки, стоявшей неподалеку от калитки, было лицо совсем другое: бледное, довольно пухлое, и главным в нем были глаза. Серые, не особенно большие, почти без блеска. Казалось, что они жили где-то еще кроме того предмета, на который смотрели; не отрешенность, не поволока в них были, а участие и внимание — такие полные, что человек казался спящим в видении, созерцающим что-то важное.

Она смотрела, как двое пленных смывают пот целодневного марша. У рядового — тяжелого, крупного bruneta — звякала фляжка, когда он наклонялся и расклонялся, окуная лицо в пригоршни воды.

— Спасибо вам. Меня зовут Ежи Постоловский. А вот, — он показал на рядового, — Лолек Заремба. Больше по-русски я ничего сказать без ошибок не могу.

Офицер заговорил звучно, сонорно, а в нем была та же фарфоровая вытянутость и физическая неплотность, что и в той, которую он благодарил. Волосы у него были мягкие, и их славянский шелк, отросший за месяц плена, напелзал ему на уши, розовые, того же оттенка, что крылья носа у Юлии.

Как будто брат и сестра стояли друг напротив друга, и то, что языки друг друга они уже понимали как набор ошибок — распознаваемый, но каждый раз неожиданно-невероятный, —

казалось тайной восточкой братства, переливом славянской прихоти. Капризный, изящный — по-польски «элегански», это так понятно.

Озерно-ореховые, бледные, с малахитовым отливом глаза его — большие, раскрытые створки миндаля — выделялись на шелушащемся от непрочного загара лице.

Из боковой двери дома во двор вышел Сергей Владимирович с медленно, сонно двигавшимся гостем.

— Ну что, уже расположились? — Он спрашивал у дочери, благодушно. И перешел на немецкий, быстро поводя глазами по лицам гостей: — Добро пожаловать, господа, прошу, там, в саду, закусите. — И вновь дочери: — Слава богу, отбился от этого счастья. Поужинают, и отправим их к Тарабриным. Дарья скоро придет, подаст им вечерять.

И, подумав о чем-то, он вдруг заметил темноволосую девушку.

— Здравствуйте, Ася. Как отец Иоанн?

— Здравствуйте. Спасибо. — Она посмотрела на подругу. — Мне пора, пока не стемнело. Мне еще сродного брата у Тарабриных нужно забрать, он целый день с ними.

Петр Петрович отделился, утомленно проговорил:

— Я провожу. Мне по пути. Столько хаоса в городе.

* * *

Union of the Siberian Cooperative Associations Limited
Акционерное общество СОЮЗЪ СИБИРСКИХ КООПЕРАТИВНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ
Адрес Правления:
New Siberia Chambers, London Bridge, London, S. E.
Телеграфный: Sojusiber, London.

Общество основано 17 декабря 1912 года в Лондоне с капиталом 105,000 фунтов стерлингов или 1,050,000 руб., и имеет целью сбывать вырабатываемые кооперативными организациями России продукты сельского хозяйства в Западной Европе и в Великобритании, где общество имеет свои отделения и представителей.

Общество принимает на себя посредничество при сбыте вышеуказанных продуктов на комиссионных началах, при чем выдает авансы на отправленные продукты в размере по соглашению.

Кооперативные учреждения России могут обращаться за справками в Общество и при предложении какого-либо продукта благоволят высылать образцы.

Союз Сибирских Маслодельных Артелей является акционером, участвует в управлении делами за границей и продает свое масло через это Общество.

*Председатель Правления Общества
Александр Николаевич Тарабрин*

* * *

Комната-аквариум с темно-синими обоями, по растительному орнаменту которых, волнуясь, ходят последние лучи солнца. Кажется, что растения подводного царства движутся, колеблются от тока внутренних ключей, от напора невидимой воды. И там, где солнце, яркое и такое прощающееся, бежит по стене, — зелено, таинственно, малахитово, как внутри не только океана, реки, а горы сокровищ, Медной горы, вдруг заполнившейся первобытной водой.

Восьмилетний мальчик смотрит, качая ногой в лаковом ботинке, то на толщу этой воды, то на тех, кто рядом с ним сидит в затопленной и все же такой светлой гостиной. Он присматривается к ним, и до него доходят вдруг их голоса:

— Ну, почитай еще вслух. Что она пишет.

Молодая светловолосая женщина, ухватывая последние минуты света, сидит и шьет у самого окна: пришивает воротник к детской рубашке. Ей видно уже плохо, но она клонится ближе к шитью, орудуя аккуратной, маленькой иглой с белой, отливающей в этом свете жемчугом, атласной нитью.

Такой же светловолосый мужчина в белой рубашке с распушенным галстуком, в черном атласном жилете, лохматит и так рассыпающиеся волосы, вскидывает с шумом лист бумаги к началу, находит первую строку и начинает подчеркнуто ясным голосом:

— «Здравствуйте, дорогие Сергей, Нелли и все, кто сейчас дома из наших! Пишу Вам в третий день по возвращении в Петербург. Мое путешествие и учение оказались прерваны в самом интересном месте, в Вене. Только я освоилась здесь немного, нашла себе учителя, и вот. Всеобщее разбегание, пакование чемоданов, давка, спешка и суeta. И я — гражданка враждебного Австро-Венгрии государства. Бегущая от угрозы интернирования и протча, и протча. Конечно, я не побежала сразу. Я еще думала день, стоит ли мне как-то попробовать задержаться и подождать, не закончится ли все это ухарство чем-то курьезным на полдороге. Но надежды у меня на это было мало. Тевтоны так взялись рьяно за свою мобилизацию, что мне, северной русской, больше не было возможности учиться вагнеровскому вокалу у первоисточника. Вы ведь знаете, я сказала тебе, Сергей, что ехать в Мюнхен я как-то не решила. Не решилась, может быть. Как-то мне хотелось забросить пошире свою сеть, не так всецело посвящаться дорогому Рихарду. Просто хотелось пожить в Вене. Пусть Малер уже и умер, все равно».

Женщина у окна перекусила нитку, встряхнула свое шитье, вынула нить из ушка иглы, обмотала ее вокруг белеющего в уже густых, прочных сумерках «тюрючка» и, посадив иглу в подушечку, откинулась в кресле, отдыхая.

Девочка, сидевшая рядом с ней и рассматривавшая огромную книгу шляпных мод, взглянула на мать.

— Настя, уже темно, вредно читать.

— Я не читаю, я просто смотрю. Тут все не по-русски.

Для доказательства она повернула проспект страницами к матери и начала листать. В остаточном свете засияли лица берлинских красавиц в роскошных одеяниях и новейших головных уборах: черно-белые разноочерковые отражения красоты поплыли внутрь комнаты, снабженные крупными подписями для лучшего понимания. Круглые маленькие бирюзовые токи, серый тюрбан с вертикально задранном райским пером, богемные черные шляпы с мягко опускающимися на плечо полями. Невинные, круглые, античные лица. Мальчик взглянул на них со своего места на острие кораллового рифа. Русалки, это были русалки, и то, что изображены они были по грудь, скрывало их истинную суть лишь ненадолго, и не от него.

— Да, это все по-немецки. Папа все это понимает. И тетя Маша. Давай послушаем ее письмо, это она книжку прислала из Германии.

Еще один мальчик сидел в самом дальнем, темном, углу на диване и спал.

Мужчина что-то пробежал в письме про себя и продолжил со второй страницы:

— «Я, конечно, думала о том, где сейчас дядя Саша, в Англии или дома. Успел ли он приехать домой или, наоборот, посчитал за лучшее остаться там. Наверняка вся торговля сократится, если не прервется. На мою телеграмму ему в Лондон я не получила ответа в первые сутки, а решать надо было быстро, напор весь этот так и волок. Еще полдня я ему сопротивлялась и на следующий день после моей „паузы“ тронулась на перекладных в Петербург. От описания пути избавлю вас. Доехала я морем. Вернулась в консерваторию. Досаде моей нет конца, точнее, не было, но как-то сейчас она утихает. Вагнера всего сразу сняли с репертуара. Такое представление, что Вагнера нужно петь, когда голос „окрепнет“, иными словами, когда человеку подопрет под тридцать лет, и Изольду она уже не споет, да и Тристана вряд ли. Душу надо ставить вовремя, как и ум. Ты в Берлине учился, ты меня поймешь. А меня загнали вновь в отеческое стойло. Как, кстати, папин курганский дом? Напишите при случае. Я рассчитываю поехать все-таки в Вену на будущий год, думаю, все это уже как-то исчерпается. Но это к лучшему, что я в Лондон все-таки не поехала: по слухам, в оперном смысле это все еще какая-то филистерская глушь, и многое там просто нестрого, а музыка этого не любит. Пока хочу поехать послушать Скрябина в Москву, вообще хочу в Москву, мне кажется, там многое происходит. И к вам хочу — весной, если получится. Видите, как трудно стало сейчас планировать. К нам идут эшелоны раненых, и говорят, ранения все очень тяжелые. В Руссе дом требует ремонта, и я думаю и об этом, но все это требует моего присутствия, а мне туда явиться пока тяжело. На этом прощаюсь. Я рада, что хотя бы мы — по одну сторону театра войны, и надеюсь, что все вы сохранены. Целую. Мария. 25 августа 1914 года, Петербург».

Мужчина отложил письмо на стол.

— Васек уже совсем уснул.

— Сейчас уложу его. Даже Маша понимает, что дела нарушились.

Мужчина пожал плечами.

— Одни нарушились, другие пришли им на смену. Если масло нельзя отправлять в Англию, в Данию, в Германию и подавно, военные заказы придут. Своим солдатам, военное ведомство купит.

— Но все-таки. Все равно.

Открытая книжка мод стояла вертикально и рассыпавшиеся веером страницы уже не показывали четко ни одной из русалок.

В воду, затопившую вселенную, больше не проникал ни один луч, лишь неясное, отраженное сияние бродило по предметам: атласным ниткам, атласному жилету, искрящимся волосам, лаковым ботинкам мальчика. Он спал с открытыми глазами, как товарищ его игр — спал с закрытыми. Он прислушивался ко всему и первым услышал приближающийся, сквозь стекла, голос сестры.

— Брат из Тобольска... гостит...

В комнату вошла девушка — няня детей.

— К вам дочка отца Иоанна и еще Колосов, староста мещанский.

И вышла.

Хозяйка дома встала и, щелкнув выключателем, зажгла низкую люстру.

Мальчик широко открыл глаза и сощурился, глядя на входящую сестру.

— Здравствуйте. Простите, раньше не могла зайти за Сашей. К Седовым привели австрийцев пленных, это задержало.

Из-за ее спины показался мещанский староста, еще более усталый, чем час назад, и так же, как ребенок, щурящийся от внезапного искусственного света. Невольно глаза его метались по синей, сверкающей деревом и фарфором гостиной, подымались навстречу высокому хозяину дома.

— Здравствуйте, Сергей Александрович, Нелли Владимировна!

Внезапно раздался резкий телефонный звонок. Гость вздохнул.

— Телефон не работал с полудня. Иначе бы я позвонил вам, не тревожил в воскресный день.

— Да у нас уже понедельник. Мы уже спать ложимся, готовимся к завтрашнему дню. Садитесь.

Пока муж говорил по телефону, няня уводила детей, а Ася — своего брата, Нелли Владимировна повернула кресло к гостю. Она сняла с его полосатой, серо-голубой, атласной поверхности высокий узкий журнал в твердом переплете. На черной поверхности было оттиснуто Debitoren, свежее золото надписи сияло в новом электрическом свете. Нелли Владимировна легко распахнула книгу, прежде чем отложить ее: на первой странице красными чернилами было написано не мастерской, но тщательной рукой: «Александр Желницкий, Шторм (стихи о

море). По дороге из Тобольска в Курган». Дальше шел непрерывный монолог, совсем не похожий по виду на стихи, — разве что на стихи в прозе.

Нелли Владимировна отложила журнал на свой швейный столик и пригласила гостя садиться.

* * *

Нет ничего прелестнее, свежее и таинственнее сухой сентябрьской сибирской ночи. Вся земля — как будто черное поле под натянутым до скрипа шелковым пологом небес, колеблющимся космосом, уютным, как швейная мастерская, при всей своей беспредельности. Из ближней беспредельности сияет луна, поминутно затемняемая легкими, витающими облаками, точь-в-точь списанными, сдутыми ветром с картины «малого голландца» Класа Питерса Берхема «Утро, сменяющее ночь». Несутся они, величественные и грациозные одновременно, как волна по шелку, и почти не затемняют звезд, проникающих влажную тафту иглами настоящей беспредельности. Но и она — лишь слово, ибо настоящая беспредельность темна: зияющее, парадное «ничто» движения. А звезды — россыпь с подушечки мастерицы: булавки, иглы, зажимы, шпильки, кнопки, запонки. И как сладостен каждый звук: фарфоровый переплеск сухих листьев, прибой встревоженной лодкой волны, пружинящий гомон высоких, еще полных соков ветвей — под натиском черного речного ветра. Самая тревога юна и подымает душу, возносит, а не пригибает ее к земле. А так хочется пригнуться и к земле, припасть к ней — схватившись в дружеской греко-римской борьбе во дворе, и шелестеть-шелестеть-шелестеть листьями. Кататься, смеясь, по их рыжему, желтому, вечному ковру. Сидеть потом, опершись локтями о высоко, мечтательно забранные колени, положив щеку в ладонь — свою или друга. Огни домов ровны, теплы и так же далеки, как и звезды. Ни на звездах, ни в этих комнатах тебя пока нет, а все, кроме настоящего, — удалено бесконечно. Медленно, долго разгорается костер, собранный из сухих веток, ящиков из-под фруктов, выброшенных колониальной лавкой, — о, как благоухает этот зачинающийся огонь — сладостно и ново!

Языки подымаются все выше и выше в окружающем молчании, и высокие протуберанцы искр взлетают в бесконечность, черноту, ничто. И ты следишь их там — роение, радость, бессмертие. Лицо друга в ярком свете костра, кажется, отражает и его, и твою — вашу общую — мысль, и всякую мысль. И так, символом мысли, и будет его задумчивость для тебя. Скрип тополиной коры, замыкающей соки на зиму, свежесть ветра, сияние юности. И лето, и зима — лишь крайности, а мера благодати — здесь: в этом осеннем позднем тепле с прослойками неопасного сквозняка; в вечно-юном содрогании свежести, для которой любой ровный жар — лишь утешение неповторимой тревоги.

* * *

В саду ветеринара Седова, на двух скамьях у деревянного столика, друг напротив друга, сидели Постоловский и Заремба. Видно их было в быстро убывающем свете из окон, седовских и соседских, в свете звезд и в самом маленьком, колеблющемся свете керосиновой лампы, стоявшей на столе. При нем они и вечерали. До Юлии доносился их смех. И голос отца из коридора:

— Ты спишь?

У нее уже был выключен свет, но она, не раздеваясь, стояла у окна второго этажа и смотрела на гостей.

— Они утром уйдут. Тарабрин согласился открыть им усадьбу Валентина Александровича, потеснить его зазнобу. А дочь его, Мария Валентиновна, едва успела вернуться в Петербург откуда-то из Австрии. Но сюда все равно не поедет, будет дальше пение превосходить. Я спать иду, слышишь?

Она наконец ответила, сквозь дверь:

— Да.

Сквозь дверь:

— Мне надо еще статью сдать в «Народную газету». Скотий Новый Завет пишу. Заповеди молочного хозяйства. — Он коротко рассмеялся и пошел по коридору в свою комнату.

Крикнул уже от порога:

— Живицын недорого мне своего Карэсса продает. «За копейки», как он выразился. Сгубили ему-таки жеребца. Жокей сгубил. А я dokonчил.

Юлия вернулась к окну и снова смотрела на опоясанную, перечеркнутую портупеей спину Постолювского, по которой побрел свет из отцовского окна. Он, очевидно, начал писать.

* * *

ЗАПОВЕДИ ЖИВОТНОВОДСТВА И МОЛОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА (окончание)

Заповедь 15. Умейте выбирать хорошего племенного быка. Более быстрое улучшение стада может быть достигнуто только при хорошем выборе быка. Главные признаки хорошего племенного быка:

Бык должен быть хорошо сложен и происходить от молочной матери и здорового быка без наследственных болезней. Часто быки бывают причиной выкидышей или трудных родов. Нрав его должен быть кроткий, а не злой и строптивый. Нельзя бить быков. Напротив, надо чаще ласкать их, гладить, чесать.

Надо избегать родственного разведения, что достигается освежением крови в стаде, т. е. покупкой быков из других местностей.

Голова племенного быка не должна быть тяжелой с курчавой, грубой шерстью.

Лучший возраст для быка, пускаемого в случку, — от полутора до 6 лет. Из существующих видов случек рекомендуется ручная случка, причем число коров на одного быка не должно превышать 60—80 шт. в год. При вольной же случке — 40—50 шт. В день более одной случки не допускается. В месяц же не более 20.

* * *

Свет в окне Сергея Владимировича давно погас, а Юлия Сергеевна все еще не спала, не раздевалась, не зажигала света. «Австрийцы» развернули шинели и легли на скамьях, и она видела из окна растянувшегося, подложившего руки под голову Постолювского, смотревшего в не совсем знакомое ему небо. И Юлии Сергеевне захотелось увидеть его.

Она тихо прошла по темному коридору, спустилась по скрипучей лестнице на первый этаж, откинула засов, вышла в боковой угол сада, откуда не могли видеть ее. Обхватив плечи руками, она стояла в тени дома и слушала все никак не смолкавший ток польской речи. На столе горела лампа, рядом с ней стояли две бутылки местного крепкого пива, сваренного, ирония, по австрийским рецептам местным пивоваром, чехом Гамплем.

«Постолювскому не больше двадцати лет», — подумала она. Только командный вид его не молодил.

Она вышла на улицу и пошла к реке. Всего нужно было пройти мимо четырех усадеб — и яр.

Ноги утопали в рыжем, яростно осыпавшемся песке, но она поднялась на самую верхушку яра. Ей хотелось постоять на круче, посмотреть на плывущий рядом белый собор, огонь луны, плещущийся по всему Тоболу, затихшие купы тальников на том берегу — на весь темный, лишь угадываемый сейчас южный простор заречной поймы. Она вздрагивала от холода в одном платье, пока не увидела в руках у себя белую шаль, стянутую ею с зеркала в прихожей. Укуталась в нее, слушая плеск воды, влажные поцелуи стихий. И, резко повернувшись, не думая, бросилась бегом с песчаной кручи, чувствуя, как ветер поднимает волосы с висков и шеи, смеясь от ужаса движения, быстро-быстро перебирая ногами.

Она почти вбежала в калитку внутреннего проулка, всполошив собак в соседних оградах. Замедлила шаг, и они, чуткие к движению, хрусту листьев, успокоились, побрехав минут-другую, осознав, что опасность относится не к ним. Она шла и смеялась в темноте. Опасность смотрела на нее из-под каждой неподнятой ветки — тем более явная, что стало светло от вырвавшейся из пелены туч луны. У своей калитки она пошла совсем тихо. Собаки у них не было, Сергей Владимирович ненавидит собак, он терпеть не может любую непроизводительную, как он выражается, живность, и сделал исключение только ради дряхлого кота Филиппа, взятого котенком, когда Юлии было пять лет. А теперь, когда ей семнадцать, дожившего до кошачьей деменции, хрупкого старческого самодовольства и проводящего дни то в саду, то в кухне у печи, постоянно раскаляемой Дарьей.

Она откинула щеколду и, стараясь парить, а не ступать, вошла в сад. Подняла глаза на соседний дом. Огни не горели. Любовница среднего сына великого местного промышленника и торговца Александра Николаевича Тарабрина, Валентина Александровича, судя по всему, спала, не догадываясь, что завтра ей приведут постояльцев. Беспутный, по общему мнению, ввязывавшийся в огромные, но неблагополучно кончавшиеся предприятия, Валентин Александрович умер позапрошлым летом от туберкулеза где-то на юге. Жил он в Старой Руссе, там и росла его единственная дочь. А этот его дом, юношеский дом, свидетель его первого увлечения, никогда не входил в семью, принадлежа ей по сути. Здесь жило «увлечение», монашески-уединенно — но сытно. Безвестно, глухо, но небедно. Юлия смотрела на окна, как будто решая, смотрят ли оттуда на нее, обдумывая впервые все, что она об этом доме и его хозяине и «хозяйке» знала.

Она опустила глаза и тихо пошла по саду на свет лампы. Остановилась в нескольких шагах от спящих и долго ждала. Ей уже было видно лицо Постолювского — но не прямо, а в перевернутом виде, как если бы то было лицо карточного валета или короля.

Он был благородный карточный рыцарь, верный вассал: вся линия его щеки, бегущая ровно, говорила о верности, а слегка горбоносая тень, падавшая на щеку, — о решительности, дерзости. И лишь в высоких, похожих на опрокинутые речные ладьи, бровях прочла она о юности, потерянности, веселье чужбины.

Тихо обошла она спящих, убавила и погасила огонь лампы, не боясь больше шума.

* * *

Спит превратно не только судьба людей, но и царств. Всю свою долгую жизнь я наблюдал Божии планеты и дошел до некоторой степени знания. Многие сокровенное стало мне открытым. Минувшей ночью, перед рассветом, стояние звезд было таково, что мне удалось составить следующее знаменование: Галицийская земля издавна наследие Руси. Червонная Русь хотя и стоит сейчас под цесарским скипетром, но придет время, когда она вновь воссоединится со своей кровной матерью Россией. Это будет еще не скоро, когда Сретение будет праздноваться не в свой срок, а Пасха произойдет ранее раннего.

Из безымянной древней книги «Вертоград Струйный»

* * *

Упорно, прямо над ухом, били в колокола, звон отражался от реки и еще не покрывшегося пухом леса на другом берегу и возвращался сюда: им рикошетили все предметы, и двое, сидевшие в саду за деревянным, едва просохшим от зимней влаги столом, молчали, не желая перекрикивать звон. На столе стоял самовар, но скатерть была почти сырая, и с крыш капало: таял последний, выпавший вчера снег.

— Я всегда на Пасху чай в саду пью. Не желаю делать никаких отмен и в этом году. Ну и что, что Пасха ранняя? Так, значит, надо.

— Ну, Пиам Петровна...

Юлия стояла у кустов смородины и ивового плетеного забора, едва скрывавшего ее: когда он порастет вьющейся зеленью, можно будет подслушивать всласть, а сейчас ей пришлось надеть коричневое платье, чтобы слиться с буровой, глянцево-поверхностной ветвей. Она тихо подошла еще ближе к соседской земле и повернула голову — ухом к тем двоим, видимым в прорезях ив.

Пиам Петровна, хозяйка — точнее, прочная насельница построенного углом дома, смотревшего и в переулок, и на Береговую улицу, а срезанным торцевым балконом — еще и на перекресток и вдаль за реку, — Пиам Петровна сидела к ней спиной, в коричневом пальто, в бесформенной коричневой же шляпе. Зато видно было ее гостью — бледную маленькую женщину в черном пальто и белом шарфике, в черной же, узкой и высокой шапочке, похожей на убор Нефертити.

— Пятьсот лет не было такого. В последний раз — в Смутное время, при Борисе Годунове. Я в газетах прочла. Чтобы Пасха прошла вперед Благовещения — пятьсот лет такого не было. Оно всегда постом. Как, бывало, ждешь — рыбы поесть в этот день. Если кто постует...

И гостя молча ждет, что скажет хозяйка. Но она тоже молчит и сидит куль-кулем, неподвижно: лишь звон ложечки о тонкий фарфор рассказывает, что все же происходит в ней какое-то движение, какая-то нервная мысль.

— Ну так что, что не было? И Смутное время будет. Все будет. Смотрите, дороговизна такая. Оно уже почти пришло. Масло то можно вывозить, то нельзя, а когда его можно везти, то куда оно попадает — непонятно. Тем же немцам продаем. Их кормим своим молоком. Швеция, слышали, сколько купила? Никогда столько не брали. Для кого, спрашивается? Сами, что ли, в три горла будут есть?

— Немцам отвезут.

— То и есть. А мы — дои тут. Я вот новый сепаратор для своей фермы купила... Наливайте сливки. Не летние, но что ж...

Чашка столкнулась с молочником. Ноги у Юлии утопали, медленно, в рыхлой, вязкой земле. Ее еще вчера здесь не было. Откуда она? Как будто кто-то перебросил лопатой через забор. Капля с березы, душистая и молодая, упала ей на щеку.

— Ну что жильцы ваши?

Краска кинулась ей в лицо и как будто сразу осушила всю влагу и сразу отлила.

— А что им сделается? Сам бегают по урокам, чему-то учит детей чьих-то, а этот так... Шалберничает. На свою голову нагнали их сюда. Своих рабочих рук нет, и эти не работники. «Славяне»... Одно название. Впрочем, пусть живут. В подвале вот у меня вздумали сидеть, говорят — опыты проводят. Я им говорю — главное, без химии. Еще того не хватало, чтобы дом на воздух поднять. Но он мне сказал: «Нет-нет». Порядочный вообще парень, он, этот Юра.

— Кто?

— Ну, Ежи-то. Георгий, по-нашему. Я его Юрой зову. Могли гада-ляха какого-нибудь прислать.

— А вы не смотрели, что они там, в голбчике, творят?

— Стара я шпионить за ними.

Юлия стояла, не шевелясь. Новая кровь подымалась все вверх, к лицу, оставляя стынущие ноги в воде. Она все глубже тонула в земле и даже не смотрела на свои тонкие ботинки, чтобы не ужаснуться.

— Сказал: «Нет, не химия». С меня хватит. Он не солжет. А этот второй, Лёля-то, вот он врун. Ох, врун. Вторую девку в Затоболье уже охмуряет, одну забраковал. А этот, Юра, он

— целомудренной жизни. За прислугой не бегает. Разве что в городе. Кто его знает, что там, на его уроках, происходит.

— Одну учительницу выгнали из гимназии за амуры с пленными офицерами. За то, что принимала их.

— А чему дивиться? Молодые здоровые обалдуи. Наши вот едут назад все перекалеченные, а эти уже отвоевали и всех невест себе заберут. Одно добро, что пока им жениться не дают. Нет разрешения. Но им не препятствует! Они-то здоровые! Вон, глянь на этого... Я так Лёльке и сказала — ты мне погреб должен расширить. У меня нет склада-холодильника пока что, я где должна свое молоко хранить, сливки до сдачи? Раз вы там и так сидите — ройтесь! Пользу приносите. Роят теперь там что-то.

— Дак ведь холодно.

— В земле-то? В земле всегда тепло. Это снаружи лед, а там, чем глубже — тем горячее. Сдюжат.

Вдруг через близкий забор с улицы донеслись знакомые голоса и польский говор. Сейчас они вернуться, войдут во двор и потом — в дом. Юлия вздрогнула, но не тронулась с места, лишь перевела глаза с двоих за столом в дальний угол, на ворота. И точно, зазвенело кольцо калитки, — как сильно все разносится во влажном воздухе, — и как будто снеговой пухлой прохладой дунуло с реки: в обтрепавшихся серых шинелях вошли двое, подошли к женщинам за столом.

— С праздником! — Ежи говорил это им, но смотрел прямо в глаза Юлии, сквозь забор. Он как будто видел ее. Дыхание у нее остановилось, и нескоро она вдохнула снова. Только когда поняла, что он не видит ее, а смотрит на ее дом, на забор, отделяющий его от ее земли. Он стремится к ней.

За столом галдели, теснились, хотели дать пришедшим место. И дали. Двое молодых мужчин сели, неловко. Приняли дымящиеся чашки из рук хозяйки.

Они заговорили о том, что видели в городе, потрясенном трезвостью в праздник — везде «сухой закон» — и недоуменном: как быть? Гостья спросила о новостях с «театра войны», и они сказали, что в Карпатах идут бои, на снежных перевалах гибнут десятки тысяч людей с обеих сторон. Офицер молчал, рядовой говорил.

Лолек знал все, и его низкий баритон было приятно слушать. Крепость Перемышль взяли русские войска. В Карпатах русины ждут русских. Но они застряли в горах, то наступая, то отступая, перетягивая канат на пространстве двадцати пяти километров, кладя на нем жизнь за жизнью.

— Нет, ты не ври. Что значит «ни за что»? Очень даже «за что». Указано, что Галиция — русская земля, стало быть, так тому и быть.

Маленькая, изящная гостья слушала со вниманием, клонясь, как все очень близорукие люди, то к одному говорившему, то к другому, и поводя длинной фараонской шеей. Но думала как будто только о своем и проснулась, только когда хозяйка спросила ее:

— А вашего мужа, Кира Григорьевна, не призывают?

— Нет. Ему годы вышли. И железнодорожники нужны здесь.

— Слава богу! Что бы вы делали иначе? С тремя!

— Ну, мне пора. А то Аполлоша в поездке — дети там сами, всю квартиру разнесут.

Она встала, и встали мужчины, поставив на место чашки. Хозяйка пошла провожать гостью до ворот, а стальные шинели двинулись глубже в сад. Они перешли на польский. Во дворе, совсем рядом, бился в стайке, перебирал высокими ногами скакового жеребца Карька, бывший ипподромный юнец Тендер Карэсс, и Юлия вытягивала слуховые нервы вдаль, прочь от себя.

— Как ты думаешь, на сколько у нас еще работы?

— Работы! Разве это работа? Это чудачество!

— Подумай... Я хочу сделать этот ход к лету.

— Вы с ума сошли! Да и она заметит. Надо будет стены деревом укреплять. Где мы дерево возьмем?

— Придумаем! И ничего не заметит, мы землю будем раскидывать по всему двору.

— Зачем вам это, зачем?

Они ушли совсем далеко и стояли, глядя в лицо друг другу. Доносились лишь незнакомые слова. Но она все поняла.

Лаз, который они «гжебали» в земле, чудачество, «дживацтво», — это подземный проход к ней. Земля, в которой утопают ее ноги, вынута из-под этого странноватого дома. По всем канонам крепостной науки он делает подкоп под дом ее отца — ради нее. Он не хочет скучно идти к ней знакомиться, улыбаться при встрече в переулке.

Они странно редко встречаются, непонятно почему.

Он хочет — чего-то другого.

Для чего такие трудности? Друг не понимал его — ему казалось: все так просто.

Пронесся верховой ветер, и веер капель осыпал ее, волосы стали совсем мокрыми.

Рядом не было двухэтажных домов, только ее дом и дом Пиамы, некому больше смотреть со второго этажа. Но отец уехал в очередную поездку по уезду, коров косит воспаление легких, эпидемия, особо опасная весной для ослабленных животных; и пока эти двое не вошли в дом, она в безопасности.

Пиама уступила им — пришлось — второй этаж. Сергей Александрович Тарабрин попросил ее, а она, артельщица одной из маслодельных артелей, которых наплодил его отец по всей Сибири, не отказала. Молочная ферма — рядом, за рекой, и вечером, если ветер южный, слышно, как мычат ее коровы, возвращаясь с пастбища. Отец ездит осматривать их и лечить от ящура.

Юрек (она назвала его так) роет ход к ней. Эту землю они набросали к ней: не то как намек, не то от безвыходности. Они готовились к конспиративному делу. Андрий залез к панне в комнату по дереву, а к ней в спальню никак не пробраться: нет дерева у ее окна, и единственный путь, если не по земле, — под землей. Да и Андрий, в конце концов, тоже пришел к панне по лазу, в посаженный город, — пришлось.

Двое повернулись и пошли в дом. Он больше не взглянул на ее окна, в ее сторону, как будто решил то, что ему было нужно, и уже не сомневался в том, что она будет его. Даже если они не посмотрят друг на друга, даже если — странная мечта — не заговорят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.